



Елена Чижова

Лауреат премии «Русский Букер»

# ЛАВРА

Проза: женский род

# Елена Семеновна Чижова

## Лавра

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=612115](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=612115)*  
*Неприкаянный дом: [романы]: Астрель; Москва; 2012*  
*ISBN 978-5-17-071040-9, 978-5-271-32104-7*

### **Аннотация**

Елена Чижова, автор книг «Время женщин» («Русский Букер»), «Полукровка», «Крошки Цахес», в романе «Лавра» (шортлист премии «Русский Букер») продолжает свою энциклопедию жизни.

На этот раз ее героиня – жена неопита-священника в «застойные годы» – постигает азы непростого церковного быта и бытия... Незаурядная интеллигентная женщина, она истово погружается в новую для нее реальность, веря, что именно здесь скроется от фальши и разочарований повседневности. Но и здесь ее ждет трагическая подмена...

Роман не сводится к церковной теме, это скорее попытка воссоздания ушедшего времени, одного из его образов.

# Содержание

Часть I	4
Опрокинутый дом	4
Реверенда	17
Гонимые и гонители	25
Тело и кровь	36
Быстрый Ангел	40
Сиамские близнецы	46
Конец ознакомительного фрагмента.	52

# Елена Чижова

## Лавра

### Часть I

*...и что свяжешь на земле,  
то будет связано в небесах...*

**Мф. 16:19**

### Опрокинутый дом

Нас было трое, собравшихся во имя Его в одном окраинном доме, который выбивался из ряда собратьев своей особенной, почти неправдоподобной протяженностью. Вряд ли кто-нибудь, кроме строителей, взявших на себя труд пересчитать его парадные, мог назвать их число; количество же квартир, соединенных в парадные блоки, легко достигало полутора тысяч. Об этом говорили номера, выведенные белым на последней из синих плашек. Дом был невысок, всего девять этажей, а потому больше походил на неудавшийся, почти комический небоскреб или башню, поваленную на землю – в сердцах. Этот дом, о котором не хочешь, да скажешь – *лежал*, выстроили в тупике бывшего Комендантского аэродрома. Дальше начинались Коломяги – нетронутая земля.

Из окон, выходящих в широкое, не ограниченное другими строениями пространство двора, открывался мирный деревенский вид, однако взгляд, скользнувший вниз, различил бы огромную лужу, которую жители называли вечной. В первое же лето в ней утонул местный мужичонка. Его пьяные крики «Тону! Тону!» слышали из всех окон, однако призыв был таким нелепым, что никто не повел и ухом. Утром его белая, надутая воздухом рубаха долго пучилась над гладью вод, пока приехавшие милиционеры не вытянули утопленника двойным багром.

По вечерам, когда солнце садилось за дальние пустыри, окрестности тонули в спасительной тьме. Тьма укрывала рытвины и остатки строительного мусора, на глазах зараставшие будыльями иван-чая. Сам же дом загорался тысячами широких, почти лишенных простенков окон: пылал над землею девятью огненными полосами.

В те времена нас переполняла радость обретенного жилища, которую не могли омрачить ни смерть пьянчужки, ни буйство сорной травы, укрывающей окрестности, ни циклопические размеры поваленной башни-муравейника, в котором нам предстояло жить. Вначале нас было двое – муж и я. Три года, которые мы провели, скитаясь со своим скарбом по чужим комнатам, были сроком ничтожным, если сравнить его с десятилетиями ожиданий, выпавших на чужую долю; однако нам они показались долгими. Сколько раз, скользя глазами по рядам чужих окон, горевших вечерним уютom, мы представляли себе, как сядем за стол в своей кухне и задернем клетчатые шторы. В этих мечтах мы полагались на желтоватый электрический свет, способный отогреть холодный бетон наскоро возведенных стен, надеялись на электричество – волшебную силу, умеющую оживлять никем не заселенные прежде комнаты.

Наверное, не надо было приходить сюда раньше, чем строители закончат отделку. Я и не хотела, но роль будущих новоселов предполагала это промежуточное посещение: мы

прошли по доскам, брошенным поперек ямы у недостроенного подъезда, и вошли в парадную.

Лифт не работал. Мы поднялись на шестой этаж и открыли свою будущую дверь строительным ключом. Я остановилась на пороге. Серый бетон, еще не одетый обоями, ошеломил меня. Сделав над собой усилие, как будто входила в склеп, я ступила на порог, стремительно, почти не глядя на бесстыжие стены, обошла комнаты и так же быстро вышла. «Потом, потом», – нужно было время, чтобы свыкнуться. Следующий раз я пришла сюда через два месяца. Теперь квартира выглядела живее. Призрак мертвого дома ушел в глубину. Развесив светильники и гравюры, раскатав ковер, прицепив шторы к карнизам, я загнала его глубже, на самое дно, где он и остался – невидный и неслышный.

Муж работал в школе – учителем английского и завучем по внеклассной работе. Собственно *часов* у него было немного. В его обязанности входили макулатура и металлолом, общешкольные линейки и военно-патриотическая игра «Зарница». Эту игру он ненавидел люто. Классы, на время игры переименованные в отряды, выходили в Таврический сад, где под его руководством проводили разведку на местности, организованные построения и смотры строя и песни. После каждой игры муж возвращался домой разбитый.

Для него, выпускника филологического факультета, работа оборачивалась ежедневной мукой, однако так уж сложились обстоятельства, что и за эти мучения он должен был благодарить Смольнинское районо. С прежнего места работы его уволили по негласному распоряжению, исходившему от районо Октябрьского, позволив, учитывая профессиональные заслуги, написать заявление по собственному желанию. Я имею в виду школу, в которой я училась, а он преподавал английский в старших классах. Строго говоря, наш роман начался *после* моих выпускных экзаменов, то есть сам по себе не мог бросить тени на среднее общеобразовательное учреждение, однако факт моего несовершеннолетия – до восемнадцати мне оставалось полгода – серьезно осложнил ситуацию. Конечно, мы соблюдали осторожность, стараясь не появляться на людях, но бывшая жена, ревнивая и истеричная красавица, с которой он расстался незадолго до этого, но не оформил развода, написала соответствующее заявление. Районо́вское начальство не могло не откликнуться.

Оказавшись на улице, муж обошел десятки школ, однако дурная слава, бежавшая впереди, достигала директорских ушей прежде, чем он брался за ручку школьной двери. Раз за разом, ссылаясь на полную укомплектованность штатов, ему вежливо отказывали, оглядывая с опасливым интересом. Не раз он пытался найти и другую работу, но участь технического переводчика – с девяти до шести, вход и выход по пропускам – казалась страшнее любой безработной доли. Его университетские друзья, с которыми той зимой мы встречались довольно часто, шутили пеняли мне за то, что муж пожертвовал блестящей школьной карьерой. Ради меня.

К весне, дождавшись моего совершеннолетия, мы поженились. Судя по всему, городское начальство рассудило, что грех прикрыт венцом, и нынешняя директриса, долго и безуспешно искавшая добровольца на *патриотическую* работу, неожиданно согласилась рассмотреть его кандидатуру и, рассмотрев, дала согласие, намекнув, что отныне именно ей, женщине широких взглядов, он должен быть благодарен по гроб жизни. С тех пор прошло три года, и все это время муж втайне надеялся, что рано или поздно все образуется, а пока со стоическим спокойствием сносил замечания директрисы, не раз просившей его купить, наконец, новые брюки. В школу он ходил в латаных-перелатаных. На брюки денег не было: комната отошла прежней жене, и после покупки квартиры мы сидели в долгах.

Однажды муж пришел домой поздно. Сказал, что виделся с епископом Николаем, ректором Духовной академии, который предложил ему место преподавателя русской литературы. Предложение удивило меня. Все-таки муж закончил английское отделение, хотя и русскую литературу знал замечательно: с самого детства был заядлым книголюбом. Собственно,

первые настоящие уроки я получила от него, когда, скитаясь по чужим квартирам, мы засиживались далеко за полночь, и муж с энтузиазмом, заставляющим сожалеть о малочисленности аудитории, представленной одним-единственным слушателем, пускался в долгие рассуждения о русской прозе и поэзии. Для меня, недавней выпускницы общеобразовательной школы, его устами открывалась бескрайняя страна, по которой мы продвигались вперед с упорством английских мореплавателей, самый язык которых – так он говорил – был языком пиратов. Пути же русских писателей, взрастивших свой собственный язык, выводили к материкам и мысам, названия которых – по прошествии десятилетий – составили литературную энциклопедию. Впрочем, наши полунощные воды довольно скоро обмелели: сказывалась его школьная и моя институтская усталость. На третьем году нашей общей жизни, хлебнув горького филологического опыта мужа, я поступила в финансово-экономический институт и весь первый курс, из вечера в вечер, допоздна конспектировала Маркса. Теперь, когда владыка Николай, будто догадавшийся о прошлом, предложил именно русскую литературу, мое мгновенное удивление сменилось радостью, словно бы – в новой, существенно расширившейся аудитории – в нашу жизнь возвращались первые времена любви.

О владыке я слышала и раньше. Муж рассказывал, что когда-то давно, в детстве, когда им обоим было лет по двенадцать (впрочем, муж был года на два постарше), они прислуживали в Знаменской церкви, тогда еще не взорванной. Володя (имя Николай он принял в постриге) происходил из семьи священников и после окончания школы пошел в Духовную семинарию. После Академии он сделал быструю карьеру, став епископом. С тех пор их пути не пересекались, но моя свекровь, прихожанка Академической церкви, кажется, замолвила словечко за сына, и вот теперь Николай пригласил мужа на разговор.

Едва коснувшись будущих профессиональных обязанностей – «Не мне советовать вам, выпускнику университета» (теперь, по прошествии лет, Николай обращался к мужу по имени-отчеству), – владыка ректор подчеркнул необратимость решения, если таковое будет принято. «Вы должны понять, что обратной дороги не будет ни для вас, ни для вашей семьи. Запись в трудовой книжке о *таком* месте работы навсегда закрывает двери государственных учреждений, в особенности образовательных. Уйдя от нас, в школу вы не вернетесь. Кроме того, известные трудности могут возникнуть и у вашей супруги, я имею в виду комсомольскую организацию ее института, ведь она учится, не правда ли? Но, конечно, мы не беспомощны», – ректор сдержанно улыбнулся.

Муж рассказывал взволнованно. То словно бы продолжая разговор с владыкой, в котором он, по своей нынешней почтительности, все больше хранил молчание, то погружаясь в детские воспоминания, он признавался в том, что возвращение в церковь – его давняя мечта, окрепшая в последние годы. Церковь, о которой он рассказывал, представлялась замкнутым миром, полным сыновности и отцовства. Особенная теплота пронизывала воспоминания об отце Валериане, которому муж, по его признанию, был обязан воцерковлением. Об этом я слышала впервые, никогда прежде он не упоминал об отце Валериане. Теперь, заметно волнуясь, муж рассказывал о тихих безветренных вечерах, когда, отслужив, отец Валериан уходил в свой домик, и он – мальчик, не знавший отца, – стучался в крайнее окошко и входил в кабинет, заставленный книгами. В этот книжный мир, созданный стараниями старца, не проникала уродливая жизнь. Пастырь, служивший в маленьком храме на Сиверской, привел ко Христу великое множество людей. Его духовные чада, стремившиеся на Сиверскую из разных, подчас действительно дальних мест, рядом с ним обретали силы и покой. Для каждого из них, никогда не впадая в суровость, отец Валериан умел найти необходимое сочетание твердости и милосердия. Человек, измученный сомнениями, покидал маленький храм, чувствуя за спиной неодолимую, но милосердную силу, которая – перед лицом карающей жизни – стояла на его стороне.

Я слушала слова, отдававшие детской теплотой, и видела маленькую калитку, за которой стоял светлый и мудрый старец. «Он умер», – словно распознав мою невнятную тоску, муж заговорил о красоте уединенных служб, дрожащих старушечьих голосах, выпевавших вечные слова истины. «Нет и не может быть ничего прекраснее», – сняв тяжелые очки, муж вытер глаза. Я понимала: сегодняшний разговор с владыкой упал на мягкую почву. Муж надел очки и заговорил по-взрослому.

Мы сидели на кухне, задернув клетчатые шторы, и раздумывали так и этак («Да ладно, не те времена!») и к утру, взвесив все за и против («Ты должна понять, это мой *шанс!*»), решили – надо идти. Забегая вперед, скажу, что комсомольскую организацию эта история так никогда и не заинтересовала.

На следующий день муж отправился в Академию («Надо сразу, а то еще решат, что раздумываю») и дал согласие. Дальше все как-то замерло, муж сказал, что это не такое простое дело, церковь должна все *прокачать* и где-то там согласовать, но в тонкости я не вдавалась, да и вряд ли владыка Николай посвятил бы мужа в эту непростую кухню. Отношения церкви и государства – сундук за семью печатями. Только через три месяца нам позвонили из приемной ректора и вызвали мужа в отдел кадров. У них он тоже имелся.

На новую работу муж вышел после каникул – в сентябре. Ему дали несколько семинарских классов. Уроки походили на школьные – опросы, изложения, сочинения, однако *уровень* учащихся (в этом муж признавался сокрушенно) был очень низким. Он объяснял это политикой государства, поощрявшего прием в семинарию выходцев из глубокой провинции: «На ленинградцев установлена квота». Столь же низкой была и квота, регулирующая прием в Академию выпускников высших учебных заведений. «Ну, меня-то они примут!» – муж повторял не очень уверенно, ссылаясь на обещание Николая. Владыка выделял университетских.

Как бы то ни было, но муж оживал на глазах. Новый предмет требовал дополнительных усилий, и он, засиживаясь до глубокой ночи, освежал в памяти университетские учебники, всерьез увлекшись мыслью дать ребятам *нормальные* знания. Внешне он тоже изменился. Исчезла школьная вялость, от которой прежде не спасал и юмор, исчезли и латаные штаны: новая зарплата сулила скорое освобождение от долгов – приятное чувство, дававшее некоторую свободу гардеробным маневрам.

Прошло несколько месяцев, и муж, хитро подмигнув, выразил удивление: «Странно, почему тебя до сих пор не *дернули*? Должны бы уже прореагировать. Их каналы работают исправно». В голосе сквозило какое-то восхищение, словно мы собрались на театре военных действий, и речь шла о достойном противнике. «Ты прямо как в свою “Зарницу” играешь – разведка на местности». Шутка была недостойной. Он правильно обиделся.

К весне, обжившись на новом месте и сведя кое-какие более или менее короткие знакомства (говорю уклончиво, потому что среди *них* — академических и семинарских – муж пока еще оставался чужаком, пришедшим из другого мира), он завел разговор о том, что мне надо покреститься, все-таки неудобно, да и вообще – надо. Самого-то его крестили в младенчестве: мать тайно пригласила священника на дом. Моя же бабушка, опасаясь гнева матери, в церковь меня снести не решилась, однако время от времени приводила в Никольский, она говорила: покормить гуленек. Голубей было несметное множество. Они важно ходили от колокольни к собору, уркая полными зобами. В Николе ее и отпевали.

Мама назвала мне неправильное время. Я отпросилась пораньше, с последнего урока, но когда пришла, гроб уже закрыли. Их стояло несколько, оставленных до прихода автобусов.

В церкви было пусто, черная свечница шевелилась за стойкой у входа. Тихонько плача, я пошла вдоль, ведя рукой по жестким боковым кистям, словно ослепла и только на ощупь могла опознать *свой* гроб. Я встала у одного, затянутого мелким ситчиком, и ткнулась лицом

в жесткий угол доски. На мой крик сбежались отовсюду, совали свечку, шептали: «Сирота... это – мать, мать...» На следующий день, на кладбище, ситец стал другим – красноватым. Даже себе я не хотела признаться, что тогда, в полумраке собора, была над *чужим*. Я сказала себе: нет, это – свет, желтые отсветы, мелкая рябь горящих свечей. Я не могла ошибиться, ведь она растила меня.

Не знаю почему, но теперь, когда муж заговорил о крещении, я вспомнила о той ошибке и рассказала ему, призналась. И тогда он сказал: бабушка простила тебя, это не твоя вина, она будет рада, что ты покрестишься. «Знаешь, я помню, *так* говорил отец Валериан». Он сказал, и я поверила.

У тех, кто крестился в церкви, требовали паспорта. Паспортные данные заносили в какую-то амбарную книгу. О том, кто заглядывал в нее после, можно было только догадываться. Мы решили, что я буду креститься тайно, муж сказал: не надо дразнить гусей. Он сам договорился с отцом Петром, приходским священником церкви Кулича и Пасхи, которого знал в детстве, и теперь возобновил знакомство. Об отце Петре муж говорил с восхищением, о нем и его семье: замечательная самоотверженная матушка, две дочери – красавицы и умницы Миля и Оля, одна закончила медицинский, другая – в педагогическом, и сын-инвалид. Об этом сыне он упомянул как-то вскользь. «Миля вообще писаная красавица, Оля тоже красивая, но от рождения у нее была заячья губа, потом сделали операцию, остался едва заметный шрамик, который ее совсем не портит. Миля – старшая, за ней Оля, все дело в рецус-факторе, тогда таких анализов не делали, третий ребенок всегда рождается инвалидом. Да если бы и знали, – он сказал, – разве матушка стала бы *избавляться* – Бог послал».

Отец Петр жил рядом с церковью на втором этаже деревянного дома. Мы пришли рано – вечерняя служба еще не завершилась. Муж сказал, что отец Петр служит добросовестно – не сокращает. Нас встретила матушка и предложила чаю. Муж отказался, я тоже – за ним. «Ну, дождитесь», – матушка пошла к двери, оставляя нас.

Я огляделась, примечая иконы в тяжелых окладах, крестом расшитую дорожку на комод и кружевной подзор на высоких, горкой сложенных подушках. Странное чувство, словно я попала в чужой мир, овладело мною. Я хотела сказать мужу, но в этот миг в комнату вошла девушка. В ее лице не было красоты. Белый шрам, не очень заметный, подхватывал верхнюю губу, подтягивая ее к носу. Нижняя тянулась вслед, от чего и рот, и подбородок казались немного вздернутыми. Забыв о том, что хотела, я взглянула на мужа: он не мог *не видеть*, а значит, восхищаясь и называя красавицей, повторял *чужие* слова. Девушка кивнула, здороваясь. Улыбка чуть-чуть растянула шрам, делая его почти незаметным, и все лицо на мгновение похорошело. Мгновенное преображение обрадовало меня, как будто оправдало его слова, я очень хотела найти оправдание, и вот – нашла. За нею уже входила сестра, простоватым лицом похожая на мать. Наученная, я всмотрелась внимательнее: старшую красили острые, сверкающие глаза, но когда матушка вернулась и встала рядом, я поняла, что эти глаза – не материны.

«Не хотите ли посмотреть книжки, у Петеньки много», – матушка обратилась ко мне с церемонной мягкостью. Полной рукой она указывала на полуоткрытую дверь, за которой угадывалось шевеление. Я кивнула. Муж посмотрел на меня испуганно, словно для этой предстоящей встречи моего нового умения было мало, и он боялся на меня положиться. Предваряя, матушка заговорила высоким голосом: «У нас гости, Петенька!» – и я вошла.

Дверь за моей спиной закрылась, словно кто-то, не желавший видеть моего позора, закрыл мне выход. В маленькой комнате, полной книг, сидело существо, один взгляд на которое заставил трепетать мое сердце. Я увидела тяжелую, как будто налитую, голову, руки, изломанные в локтевых суставах, длинные пальцы, сведенные судорогой. Взявшись цепко, пальцы поворачивали страницу зеленой книги с золотым обрезом. Он обратился в мою сторону, неловко выворачивая шею и вжимаясь ухом в плечо.

«П-о-оите, па-а-уста». Голос полз со дна гортани, сочился сквозь раскрытые губы, которые – я догадалась – силились сложиться в улыбку. Короткая надежда поднялась во мне, но рот его разомкнулся, не сложившись. Во мне было пусто, ничего, кроме стыда, страха и отвращения. «Вы юби-те к-иги..?» Мальчик-инвалид, не закрывающий рта, радовался и смотрел на меня сестринным сияющим взором. Под его пальцами поворачивались страницы, изукрашенные картинками насекомых. Он цеплял и смотрел на меня, искал разделить со мною радость. Голосом, не похожим на голос, рассказывал, выговаривая русское и латинское названия. Его знания были обширными.

Мы сидели, рассматривая картинки, когда вошел высокий, очень красивый старик в подряснике с большим крестом на груди. Он ласково поздоровался со мной и подошел к сыну. Ни тени боли не промелькнуло в его сияющих глазах, словно взгляд, остановившийся на *таком* сыне, умел отбрасывать видимое, проникал в невидимую глубину. Не поднимая глаз, почти украдкой, я слушала, как отец, склоняясь над книгой, хвалит сына за усердие. Потом он пригласил меня за собой, и, пока мы шли, я думала о том, что ему – священнику – так и должно. Такой сын, от одного взгляда на которого страхом и отвращением обливаются неумелые сердца, и дан, чтобы *научить*. Но я – я выходила из этой комнаты, не умея смириться, знала, что никогда не научусь. Я не хотела *этого умения* – такой ценой, потому что помнила книгу, за которую цеплялись пальцы, и хотела красивых здоровых детей, которые не учат родителей видеть невидимое.

Каморка отца Петра, куда мы пришли, была выгорожена фанерой из угла большой комнаты. Из-под светлых обоев проступали швы плохо пригнанных фанерных щитов. Слева вдоль стены стояла узкая кровать, застланная темным шерстяным одеялом. В правом углу светились три иконы. Крайние висели вполборота, как дверцы трюмо. Под средней теплилась красноватая лампада, формой напоминающая голубя.

Помолившись на моих глазах, отец Петр принялся расспрашивать о моей жизни, спросил, что привело меня в церковь, знаю ли молитвы. Я сказала, что пока что не знаю, но верю. Очень хочу верить. На некоторые вопросы я отвечала искренне, на другие – с оглядкой на новую службу мужа. В продолжение моего рассказа взгляд отца Петра был приопущен, как будто ему и не нужно было смотреть на меня, однако волны мягкого света лились мне навстречу из-под его ресниц. Тихий шорох прогоравшей лампады, серебряные нити бороды, легкое покачивание лампадного голубя соединялись в картину мира, доселе мне неведомого и убаюкивающего душу. Я говорила о своем прошлом и, забывая о том, что видела сегодня, вычеркивала сегодняшний день из своей жизни. Без этого дня она легко выстраивалась в связный рассказ. Дослушав, отец Петр назначил день и час, задал выучить две молитвы – Богородицу и Символ веры – и позаботиться о крестильной рубашке, в которую я должна была облачиться. Дома, разложив выкройки, я придумала и сшила просторную белую рубаху с широкими рукавами и округлым вырезом. Ее я украсила прошвами и розовой тканой тесьмой.

Забывая обо всем, я вчитывалась в слова молитв, самая красота которых выходила за рамки русской литературы, но вопреки хронологической очевидности, которой я, поглощенная невиданными звуками, попросту пренебрегла, именно литература казалась мне первым видимым слоем, из которого они поднимались, как из тучной почвы, забирая ввысь – к небесам. Слова дрожали на губах – *Яко Твое есть Царство и сила и слава*, – я стремилась за ними, замирая от восторга, словно каждое выросшее слово пробивалось из моей собственной – тощей и бессловесной – души.

Перед крещением исповедоваться не нужно. Оно смывает грехи, все, включая перво-родный. Так объяснил мне муж, и я сказала, что те, кто крестятся взрослыми, – в лучшем положении. Муж ответил, что, напротив, они сильно рискуют. Этого я не поняла.

В назначенный день я поехала одна. По дороге я внимательно думала о своих прежних грехах, как будто теперь, когда мне было обещано прощение, я должна была вспомнить о них – перебрать. Сам первородный грех представлялся мне довольно смутно, то есть, конечно, я знала библейские события, но с трудом могла приложить их к своей собственной жизни, а потому, стараясь ничего не упустить, вспоминала какие-то школьные истории, в которых повела себя недолжным образом, но странное беспокойство овладевало мною. Мне казалось, что, вдаваясь даже в самые мельчайшие подробности, я упускаю что-то главное, как будто, как говорила моя бабушка, за деревьями не вижу леса. Опасаясь все испортить, я уговаривала себя: «Это просто волнение. Если я что-нибудь и упустила, в этом нет ничего страшного. Раз уж Бог прощает все, даже первородный, мне простится и то, о чем я не могу вспомнить. После крещения *все* грехи исчезнут. Я стану совсем другой».

Отец Петр подивился красоте рубашки, сказал, что я угадала – такие были у первых христиан. Больше мы ни о чем не разговаривали. Жестяной таз уже стоял на табуретке. Трижды он призывал меня дунуть и плюнуть, отрекаясь от сатаны, трижды я дула и плевала, отрекаясь, трижды я склонялась над тазом, когда он сбрызгивал водой мою голову.

Обряд закончился, я сложила рубаху и ушла, сосредоточенно думая о том, что теперь *их* нет. Дойдя до трамвайной остановки, я села на лавку и приготовилась ждать. В этот ранний час трамвая не было. Я сидела и думала о том, что все плохое ушло. Мне дано прощение и оставление грехов, всех, даже тех, о которых я не знала. Оно *уже* дано, я должна быть спокойна, но я возвращалась, силясь понять. Что-то вспыхивало во мне, гасло, так и не сложившись. Мысль, не умея зацепиться, скользила по гладкой поверхности. Те, кто крестятся взрослыми, рискуют... Нет, он говорил не об этом, я знала, что он говорил о другом, он говорил – все, даже первородный, но я – я ничего не могла поделать. Я знала, что среди моих еще не очень взрослых грехов не было смертных, но те, которые были, никуда не исчезли. Я прислушивалась со страхом и трепетом, я слышала их шевеление. Не подчинившись таинству, они говорили со мной, цеплялись за мои страницы сведенными пальцами, *оставались* в моей так и не дождавшейся чуда душе. Мое сердце облилось страхом. Я обернулась к куполам Кулича и Пасхи и с тоской, которой раньше не знала, додумала до конца: неужели надо мной *она* не имеет силы?

Домой я вернулась поздно. Неожиданные институтские дела задержали меня дольше обычного. В продолжение дня я мысленно возвращалась к утренним событиям, но как-то мельком. От будничных дел я очнулась на автобусной остановке. Подняв глаза, я увидела людей. Их лица разъедал электрический свет. Фонарь качался в проводах, брошенных над остановкой, и в его шатком свете чужие автобусные лица выглядели набрякшими. В них проступала застарелая усталость, не имеющая ничего общего с обыденной – дневной. За рабочий день такой не накопить. Окруженная чужими телами, я взглядывала исподтишка, и мои глаза, выхватывающие то женскую травленную прядь, то жесткий угол словно топором вырубленного лица, опускались в тоске. Люди стояли молча, не глядя друг на друга. Каждый думал о своем, словно в коротком, лишенном смысла автобусном одиночестве накапливал силы для последнего ежевечернего рывка. Я не думала о своем опрокинутом доме, я просто попыталась представить: ну, вдруг, вдруг они все покрестятся, неужели тогда, как последний грех над купелью, с их лиц сойдет заскорузлая усталость, и они воссияют, как дети, – в покое и чистоте? Такого исхода я представить не могла.

Тяготы бессмысленной, безысходной жизни бороздили их лбы и щеки, и, отводя глаза, я укреплялась в мысли, что ничего нельзя изменить. Выбравшись из автобуса, я пошла вперед по привычной дорожке. Не пройдет и минуты, как я, пробежав мимо вечной лужи, войду в парадную, скроюсь в мягком свете моей оживающей под руками квартиры – но эта мысль, прежде утешавшая меня, теперь не прибавляла сил.

«Ну, что?» – муж выходил из комнаты мне навстречу. Борозды чужих морщин были глубокими, как неведомые мне смертные грехи. «Потом, потом», – я вошла в кухню и задернула девять грозных огненных полос, уже горевших над землей. Он вошел за мною следом и, понизив голос, сообщил, что у нас неожиданный гость – Митя. Пришел, сидит в гостиной. В его глазах мелькнуло раздражение.

Дмитрия Британишского, давнего приятеля мужа, я выделяла из университетских. В этой компании мыслящих и образованных людей он казался едва ли не белой вороной. Его суждения, к которым они прислушивались, отличались особенной глубиной и точностью, теперь я сказала бы – системным подходом. О чем бы ни заходил разговор – об истории России, новой самиздатовской книге, возможных последствиях очередного решения партии и правительства, – именно от Мити они ожидали последнего слова, расставляющего все точки над *i*. В отличие от них, порой грешивших легкомыслием (анекдот, рассказанный к месту, мог нарушить течение дискуссии, отвлекая мысли в сторону), Митю ничто не сбивало с толку. Оттолкнувшись от чьей-нибудь реплики, он мог пуститься в долгие рассуждения, за поворотами и перипетиями которых его собеседники с трудом могли уследить. Не то чтобы он подавлял своей эрудицией, но ясность и острота ума, позволявшая во всем доходить до сути, обеспечила ему особое положение в их, на мой взгляд, блистательной компании.

Было еще одно отличие, которое заставляло меня относиться к Мите по-особенному. В нем не было непринужденной развязности, свойственной остальным университетским, которая давала им право шутить по любому – даже не располагающему к шутливости – поводу. Говоря по правде, шутить он не умел и, видимо, зная за собой это свойство, предпочитал отмалчиваться там, где другие находили повод для шутки.

Кроме того – это я тоже отметила сразу, – в его облике присутствовала какая-то старинность, как-то по-особому подчеркнутая модной одеждой: джинсами, кожаной курткой, сумкой через плечо, – в этом смысле он не выбивался из образа времени, разве что в лучшую сторону. От многих других он отличался еще и тем, что избегал рассказывать о себе, предпочитая общие рассуждения, как будто считал себя фигурой слишком скромной на фоне общественных событий.

В моих глазах Митя вообще был загадочной личностью, поскольку в его прошлом осталась какая-то темная история, о которой сам он никогда не упоминал. О ней я узнала от мужа. Было время, когда Митя зачастил в Москву: там организовался какой-то кружок, не то философский, не то религиозный – в шестидесятые годы это входило в моду. Как бы то ни было, но дело вскрылось, хотя власти особенно не свирепствовали. «Впрочем, – обмолвился муж, – кто их знает – все эти московские дела...» В Ленинграде Митю *вызывали* и даже грозили отчислением, но потом оставили в покое, видно, сочтя его роль ничтожной. В те времена подобных кружков развелось порядочно, но все постепенно стихло, надо полагать, не без вмешательства *органов*. Какие-то из них, возможно, и действовали, но соблюдая правила конспирации.

Через несколько лет неприятная история забылась, так что позже Митю даже *выпустили* в Индию – в течение нескольких лет он работал переводчиком в Калькутте. Впрочем, эта удача никак не сказалась на его будущей карьере: возвратившись, он устроился техническим переводчиком в научно-исследовательский институт.

С Митей я познакомилась давно, сразу же после замужества, и в одну из первых встреч вдруг подумала, что слишком рано вышла замуж. К этой мысли я больше не возвращалась, тем более что сам он не давал ни малейшего повода...

Кажется, они сидели давно. На низком столе, подсвеченном желтоватой электрической лампой, стояла опустевшая бутылка. Поздоровавшись, я присела на подлокотник, оглядывая столик: остатки сыра, хлебные ломти – случайная закуска. «Хочешь, там есть еще пель-

мени», – муж предложил заботливо, входя следом за мной. Обойдя низкий стол, он прошел к письменному и сел вполоборота. Раздражение, мелькавшее в его глазах, мешало повернуться лицом. «Я... прервала?..» – теперь и я почувствовала себя неуютно. «Нисколько, – Митя откинулся в кресле. – Я как раз говорил о том, что вам надо меняться, в центр, к этому не привыкнуть, что-то циклопическое... человеку не сладить. Хотя есть и плюсы: например, отсутствие телефона. Пока не поставят, можно разговаривать без оглядки», – Митя улыбнулся кривовато и оглядел стены. Я представила себе новую суету обмена и переезда и покачала головой: «Да нет уж, и кто сюда поедет... на выселки». – «Ой, не скажи, *наш народ*, – он снова скривился в усмешке, – выселки любит: воздух, говорят, чище, да и к истокам ближе – все по-ихнему, по-деревенски. Эх, понагнал батюшка Романов видимо-невидимо, цельный Ленинград».

«Не знаю, как насчет воздуха и истоков, но *меня*, – теперь муж наконец обернулся, – из этого дома вынесут только вперед ногами. Хватит, больше никаких переездов и обменов – на мой век хватит». Не скрывая раздражения, он рывком отодвинул стул и поднялся. «А я вот, грешный человек, предпочел бы, чтобы меня вынесли откуда-нибудь... Нью-Йорк, Лондон, на самый худой конец – Калькутта... – Митя прищурился мечтательно, – лишь бы подальше от родной земли... Никак не могу свыкнуться с мыслью, что в ней мне и гнить».

Тоска, поднявшаяся в автобусной толчее, медленно возвращалась. С этого места я знала наперед. Стоило появиться университетским, как рано или поздно разговор въезжал в привычную колею, словно кто-то невидимый, тихонько сидевший меж ними, выжидал момент, чтобы, вынув из конверта, поставить пластинку, заезженную до белизны. В этой симфонии у каждого была своя партия. Митина начиналась с народа-богоносца, нельзя ничего исправить, что можно поделаться с вырождением...

«В сущности, – откинувшись, он заговорил вдохновенно, словно мысль, множество раз разыгранная до мизинца, влекла и вдохновляла его, как новая любовь, – это не один, а два народа, раскол *генетический* – глубже любой пропасти, от самых Петровских реформ». В который раз я слушала рассуждения о том, что Петр – первый большевик, нынешние – жалкие эпигоны, но ни в коем случае нельзя с ними сотрудничать, *любая* карьера – позор и стыд. Мысль о карьере показалась мне новой. Прежде Митя об этом не заговаривал, возможно, потому, что никому из *нормальных* университетских блестящая карьера не грозила. Редкие из них, ухोдившие *в князь*, мгновенно и безоговорочно исключались из университетского ордена.

Я сидела в глубоком кресле и, не больно прислушиваясь к словам, смотрела в его лицо, и странная мысль, далекая от непримиримых слов, томила мое сердце. Когда-то давно я им восхищалась, но теперь видела болезненный излом его рта, неловкий палец, касавшийся уголка губы, белевшие ненавистью глаза и думала о том, что безо всяких усилий могу представить его среди автобусных лиц: лицо сидящего передо мною было неприятно набрякшим. Его острые, тонко очерченные скулы вылезали желваками – ходили под кожей. Под слоем живой и памятной ненависти я видела давнюю необоримую усталость, с которой даже ненависть не могла сладить. В сравнении с Митиным лицом мужа было высокомерным, словно новое положение, выстраданное мытарствами, давало опору, на прочность которой он мог и желал положиться. Высокомерие отчерчивало грань, за которую Митя, оставшийся в ряду неприобщенных, не имел права шагнуть. Словно расслышав мои мысли, Митя заговорил о прошлом, в котором муж не посягал на его духовное первородство.

«Вспомни, как было в университете, всех шупали, всех проверяли на вшивость, дергали одного за другим. Где, – он обвел рукой, забирая широкую окружность, – где, скажи на милость, по-другому? Одно и то же, сообщающиеся сосуды. Ты думаешь, в церкви иначе?» – кривясь, Митя погрозил пальцем. Муж включился мгновенно. Вскинув голову, он заговорил о митрополите Вениамине, о затопленных баржах, полных людьми, о непримиримой

церковной памяти, ничего не *отпустившей* этому государству. Он говорил об обязанностях здесь родившихся, о том, что народ достоин лучшего, и лицо его искажалось ненавистью, однако в устах, научившихся высокомерию, она принимала какую-то стертую форму. «Да что говорить, если у верующих отнимали детей, отправляли в интернаты, лишь бы не допустить религиозного воспитания...» – «Ну, в интернаты не только у верующих». Я видела, Митя устал и сник. Уже из последних сил, не поднимая глаз, он сказал, что у всех, родившихся здесь, есть одна обязанность – *ненавидеть*.

Теперь, когда он выговорил ключевое слово, напряжение отпустило его, однако напор, с которым он говорил до последнего, не прошел даром: муж взял примирительный тон. В сущности, речи не идет о карьере, он пошел на мелкую, незначущую должность, некоторую особость которой придает лишь место работы. В любой нормальной стране никто не обратил бы внимания – учитель и есть учитель. «Все, на что я настроился, – учить литературе. Если бы я пошел, например, в Лесгафта, ты бы и ухом не повел». Мысль о физкультурном институте смягчила напряжение. Улыбаясь, Митя ответил, что, возможно, его собеседник прав. Кто-то должен раскрыть книги перед клириками, отнюдь не испорченными знаниями такого рода. «В преддверии новой Реформации, – он усмехнулся. – Ну что ж, станешь видным гуманистом на манер Томаса Мора. Бог даст, еще обличишь их схоластику и напишешь собственную “Утопию” – на радость новым большевикам, – Митя говорил весело. – Помните, Мор страсть как любил обличать пороки духовенства». – «Угу, а в награду мне торжественно отрубят...» – ухмыляясь, муж пристукнул по столу ребром ладони.

«Ладно, поставь что-нибудь, послушаем, и – поеду». Муж поднялся с места и, как-то смущенно улыбнувшись, пошел к магнитофону. Расхристанные бобины лежали горкой. Он искал, перебирая. «Даже не знаю... Может, о Корчаке или бегунов на длинные...» Я обрадовалась – первой шла моя любимая «Легенда о Рождестве»... Митя пожал плечами, мне показалось, недовольно. Муж приладил пленку.

Прислушиваясь к медленному шуршанию, я ждала, что голос, здесь берущий выше обычного, вступит глуховато и неспешно: «Все шло по плану, но немного наспех, а впрочем, все герои были в яслях, и как на сцене заняли места...» Я уже вздохнула, готовясь соединить свое дыхание с первой строкой, но голос, выбившийся наружу, взял ясно и низко: «Фантазии на русские темы для балалайки с оркестром и двух солистов: тенора и баритона». Муж обернулся вопросительно. Митя закивал.

Это была страшная песня. Тенор, вступавший первым, тянул гласные, выламываясь в камаринской. Из-под плясовой, еще не видный и не слышный, готовился выступить баритон. Замирая, я ждала перехода: каждый раз, сколько ни слушала, он давался мне с трудом. Веселый говорок, словно давая волю уродливой радости, выделял последние коленца. Баритон вступил холодно: «Значит так, на Урале холода – не пустяк, города вымирали, как один подыссяк... Нежно пальцы на горле им сводила зима, а деревни не мерли, а сходили с ума...»

Я взглянула на Митю, надеясь разделить с ним подступающие болью слова, но то, что увидела, отвлекло от слов. Сидя в глубоком кресле, Митя подпевал едва слышно, и в его лице, открытом для моих глаз, проступали два человека – попеременно. Первый, уродливый кривляка, ломал брови и расплывался глуповатой улыбкой, второй, угрюмый ненавистник, набычивался и шевелил губами. От тенора к баритону и обратно Митя проговаривал каждое слово, вслушиваясь внимательно. «Нет никакого гуманизма. Вот, убитые и убийцы, – ладонью он коснулся стола, – от *этого* вам и в церкви не деться. Это вам кажется, что выжившие остались живы. На самом деле их тоже убили». Теперь, словно сойдя со сцены, Митя заговорил собственным тихим голосом. Сияющая ненависть ушла из его глаз.

Спокойно и печально, отстраняясь от всех, кому *не деться*, он говорил о том, что раздвоение личности, случившееся с целым народом, – неизлечимая болезнь: народ-шизофреник. Этому народу реформация не поможет. Те, он махнул рукой, имели дело с непорущен-

ным сознанием. Его тихое опустевшее лицо больше не казалось набрякшим. Привычная Митина непримиримость размывалась горькими словами, под которыми, словно въевшаяся усталость, лежала боль, похожая на мою сегодняшнюю автобусную тоску. Эта боль, которую я распознала, приковывала мои глаза. Неотрывно я глядела на глубокие складки, резавшие углы его губ.

«Вы, – он снова обращался к мужу, словно забывая о молчаливом примирении, – не Томасы и не Эразмы. Никогда, хоть режь меня и жги, не поверю, чтобы кто-то из *ваших* осмелился подняться и возразить. Да что там, все одно, и ваши, и наши! Причем, заметь, это, – оттопыренным большим пальцем он указал на пленку, – лучшие, *сидевшие*, те, кто способен помнить и ненавидеть, но даже они готовы *служить*», – Митя махнул рукой и поднялся.

После ухода гостя муж, немного повременив, принялся расспрашивать о сегодняшнем. Что-то тревожное мешало отвечать подробно. Митины терзания уходили корнями в тайную советскую историю, в те события прошлого, которые они обсуждали ночами, и, год за годом прислушиваясь к их кухонным разговорам, я уже чувствовала, как она постепенно прорастает в моем сердце – безысходная и бессильная ненависть. Теперь я думала о том, что именно от этой муки, терзавшей Митю, я и надеялась избавиться, перебирая свои грехи, но не находя главного.

В двух словах, опуская детали, я рассказала о странном и губительном чувстве, которое овладело мною. Мысль о неизбежной греховности, тревожившая меня, оставила его равнодушным. «Я думаю, тебе надо повидаться с отцом Петром. Поезжай к нему, он не откажет. У него опыт – огромный. Не ты первая. Отец Петр помогает всем».

«Знаешь, – я начала осторожно, – мне кажется, это странно – как он говорит... – конечно, я имела в виду Митю. – Среди *ваших* не одни ангелы, но он-то сам...» – «А! – муж махнул рукой, – обычная реакция неофита. Сначала непомерные восторги, потом – злоба и разочарование. Причем в разочарованиях, вишь ты, виноват весь мир». – «Он – верующий?» – я спросила тихо. «Не знаю, трудно сказать, лет десять назад, кажется, был. По крайней мере, единственный со всего курса, кто ходил в храм почти что открыто, не то чтобы афишировал, но не особенно и скрывался». – «А ты?» – я спросила почти беззвучно. «Хрущевские времена... Тогда это было особенно опасно», – муж смотал пленку и вложил в коробочку. Я подумала: а Митя ходил.

Ночью мне приснился автобус, в котором, сжатая со всех сторон чужими телами, я ехала к отцу Петру – вместе со всеми. Сквозь заднее стекло, забрызганное подколесной грязью, я разглядела маленькую фигурку, стоявшую на остановке. Автобус уходил все дальше, но вопреки школьным законам физики Митино лицо становилось четче и яснее. Во сне я слышала тихий голос, говоривший со мною, и видела болезненный излом рта. Его губы приближались к моим. Глубокие губные складки вздрагивали все сильнее, но в них не оставалось следа дневной иссушающей ненависти. Набухшая влажная волна поднялась во мне и разлилась – ему навстречу. Из последних сонных сил, застонав, как от боли, я выгнулась всем телом и открыла глаза.

Ужас, похожий на непроглядную тьму, окружал меня. Теперь, когда Митино лицо исчезло, я оставалась один на один со своим первым *взрослым* грехом. Раньше, с мужем, *этого* никогда не было. Грех случился в день моего крещения, словно оно открыло новый счет времени, перед которым я лежала беззащитно. Поднявшись рывком, я вышла из комнаты. Зажимая ладонями глаза, я отгоняла Митино лицо, склонившееся надо мною во сне, и, упершись локтями в кухонный стол, убеждала себя в том, что в сегодняшнем споре правда на стороне мужа, а значит, и я во имя спасения должна забыть *об этом* и остаться на его стороне.

К отцу Петру я поехала на следующий день. Дверь открыла Оля. Кроличья губка, подхваченная белым шрамом, улыбнулась мне навстречу: «Отец скоро придет». «А можно, – я сказала так быстро, что не успела пожалеть, – я... к Пете...» Губка вздернулась удивленно. Идя к знакомой двери, я вдруг подумала о том, что своим молодым детям, по крайней мере сыну, отец Петр годится в деды.

Мальчик сидел за столом – так, как я его оставила. Прежняя зеленая книга лежала перед ним. Изломанные локти вздрогнули мне навстречу. Пальцы выпустили книжную страницу и заходили в воздухе. «Я пришла повидаться с тобой». – «Ты хочешь... тобы я... ра-казал дальше?» – он перемогал замкнутое дыхание. Пальцы замерли над книгой, изготовясь листать. Я кивнула и села рядом. Под голос, сочащийся из гортани, я думала о том, что если теперь сумею научиться смотреть на него без страха и отвращения, тогда без страха и отвращения сумею смотреть и на себя. Для этого мне нужны только глаза – сияющие глаза старшей дочери, которой отец Петр годился в отцы больше, чем этому мальчику, хоть именно ему, а не кроличьей Оле сумел передать свой сияющий взгляд. Зачем – ему, я думала, *средней* они нужнее, они могли бы спасти ее лицо, сделать прекрасным, таким, что никто на свете не посмел бы вспомнить о белом шраме и вздернутой губе. *На что* ему сиять своими отцовскими – почти что дедовскими глазами, если пальцы, и локти, и тяжкая цыплячья голова непоправимы? Я поймала его взгляд и увидела, что он стал беспокойным. Мальчик-инвалид смотрел на меня гаснущим виноватым взором, словно чувствовал мои мысли, в которых я хотела отобрать у него последнее. «Ты пришла... к отцу?» Я не поняла его смиренной надежды и, помня о себе, ответила: «Да». – «Страшно... смотреть на меня?» – он спросил тайным, глухим шепотом и вывернул к двери шею, как будто боялся, что его услышат. «Ну что ты!» – я сказала громко, не желая разделить его безгрешную тайну. «Отец пришел», – мальчик одел свой взор сиянием, как ризой.

Отец Петр встретил меня радушно. Я вспомнила слова мужа – не первая, таких много – и подумала, что отец Петр, должно быть, чувствует ответственность всякий раз, когда крестит. Неужели они все, которые приходили к нему до меня, на следующий же день являлись обратно? Он сел напротив и приготовился слушать. Я рассказывала сбивчиво, стараясь вместить многое. Все больше приходя в беспокойство, говорила, что никак не слажу с собой, что-то нарушилось, сорвалось, вывернулось наизнанку. Я начала о грехах, но сбилась, боясь проговориться о Мите и о том, что случилось сегодня ночью. Словно замечая следы, я заговорила о своем опрокинутом доме, о тьме над пустырями, о едком свете автобусного фонаря. Я говорила об ущербных озабоченных лицах, полнивших автобусы, обо всех автобусных людях, не помнящих о грехах. То опуская, то поднимая глаза, я говорила не так, как сказала бы отцу Валериану – если б довелось.

Глаза отца Петра сияли по-прежнему ровно, словно им не было никакого дела до моих слов, уже не нужных ему, лишних для его всеобъемлющего опыта. В этом опыте тонула моя ничтожная жизнь. Я споткнулась и замолчала. Мягкой рукой он провел по бороде и заговорил в ответ. Его слова были проще и правильнее моих. Он говорил о милости Божьей, о ежедневной молитве, о службе, к которой призывал меня привыкнуть, приглашал в храм, предлагал прибегнуть к исповеди. Я слушала внимательно, еще надеясь. То, что казалось мне важным и мучительным, необъяснимым и невыразимым, было пустым и ничтожным – для его сияющих глаз. Они не видели моей новой скорби, как не видели уродства мальчика, всеми силами сиявшего им навстречу, чтобы скрыть от них свою глухую тайну. Он был много старше меня, между нами лежали пространства, похожие на глухие столетия: он не годился мне в отцы, как не годился в отцы сломанному сыну, которого хвалил за усердие. За будущее усердие он хвалил и меня. Я поднялась благодаря.

Мне больше не нужны были его глаза. Из той точки, откуда они сияли, все мои жалкие автобусы выглядели игрушечными. Эти глаза смотрели дальше и выше жизни, полной усталости и уродства. Их ровный свет, льющийся из-под ресниц, не оставлял места для тени.

## Реверенда

Муж все больше увлекался новой службой, но не столько преподаванием, которое постепенно становилось для него делом обыденным. Его литературный энтузиазм иссякал незаметно, может быть, оттого, что усилия не давали ожидаемых результатов. Первое время, возмущаясь их низким уровнем, он давал мне почитать семинарские сочинения, беспомощные и слабые даже со *школьной* точки зрения. Русский язык семинаристов был казенным и вялым, словно чудные слова молитв не умели в него проникнуть. Раз-другой муж порывался говорить с ректором, но как-то не решался, справедливо полагая, что тот прервет его встречным вопросом, касающимся профессиональной пригодности. Стопки сочинений, привычно сложенные под лампой, у которой, вчитываясь и сокрушаясь, он проводил бессонные ночи, мало-помалу истончались. Как-то раз, вытирая пыль, я спросила и получила уклончивый ответ, дескать, успеваю проверить на работе между уроками. Почувствовав мое удивление, муж возвысил голос и заговорил о том, что специальность есть специальность, у *них* — другие задачи, едва ли не более сложные и уж во всяком случае лежащие в стороне от литературы. «Не с литературой, священники имеют дело с жизнью». Я усмехнулась: «Как спортсмены из института Лесгафта». Он смолчал и вышел. Оставшись одна, я подумала о том, что моя усмешка получилась неприязненной. Я одернула себя, но память о прежнем разговоре вырвалась и толкнулась в сердце. «Нет», — краем глаза различив излом Митиных губ, я заставила себя отвернуться.

Может быть, именно профессиональная неудача, в которой ни тогда, ни теперь мой язык не поворачивается его обвинить, толкнула его мысли в другое русло. Словно отходя от литературы, муж предавался мечтам о более заметном поприще, приближенном к сути происходившего в Академии: хотел стать священником. Возможно, эти мечты побуждала и явленная карьера владыки. Теперь муж частенько рассказывал истории из давнего прошлого, в которых Володя, по своему тогдашнему малолетству, то отъедал кусок просвирки, то засыпал в ризнице среди развешанных по стенам облачений. Эти рассказы были окрашены в цвет прежнего старшинства, теперь сошедшего на нет и вынужденного довольствоваться запоздалым умилением. Конечно, эти почти апокрифические истории муж рассказывал только дома, в кругу нашей с ним семьи, однако частота рассказов постепенно превратила жизнь владыки Николая в одну из постоянных тем наших вечерних бесед. Мало-помалу я становилась свидетелем воображаемых споров, в которых муж, неизменно отдавая дань силе характера Николая, объяснял причины, сбившие его самого со столбовой дороги священства. Эти причины, сводившиеся к отсутствию направляющей руки отца (отец Валериан к тому времени умер) и тяге к светскому — университетскому — образованию (теперь до известной степени опороченному личной профессиональной неудачей), обходили стороной все иные соблазны, от которых владыка в свое время открестился единым махом, приняв монашество. Я же думала именно о них, и его решение, принятое раз и навсегда, вызывало мое особенное восхищение.

Сам по себе петлистый путь, который выпал на долю мужа, в иных обстоятельствах вполне мог увенчаться достойным священством, однако была одна преграда, о существовании которой он не мог не знать раньше. Однако, и зная, до поры до времени не придавал ей особого значения, то есть, говоря попросту, не думал о ней как о преграде: я имею в виду второбрачие. Теперь все переменялось. Довольно скоро я почувствовала, как изменился тон, в котором он поминал прежнюю жену. Раньше в его голосе звучали нотки многоопытного ловеласа, прошедшего огонь, воду и медные трубы. Теперь труб заметно поубавилось: «Эх, дурак, женился мальчишкой! Ничего не знал, не понимал...» В общем, второбрачие стало серьезной преградой, муж говорил о нем неохотно и возлагал надежды на будущее

решение Вселенского собора, который, как ожидали, должен покончить с устаревшей нормой. Первое время, веселясь, мы приплетали множество других норм, с которыми, учитывая меняющуюся реальность, давно пора бы покончить. «Когда еще!..» – смеясь, я очертила ему два возможных выхода: развод с последующим постригом нас обоих или моя смерть. Мои слова рассердили мужа, который прервал разговор резким замечанием: «Этим не шутят».

Кажется, к своим профессиональным неудачам муж подходил слишком строго: во всех его классах годовые экзамены прошли успешно, больше того, ректор, выборочно ознакомившись с сочинениями, отметил их возросший уровень и, убедившись в высокой профессиональной подготовке мужа, приблизил его к себе: сделал своим личным переводчиком. Здесь началась нескончаемая череда поездок то на ассамблеи Всемирного совета церквей, то на международные конференции, в которых владыка неизменно принимал участие как представитель Отдела внешних церковных сношений. Поездки, первое время казавшиеся мужу увлекательными, отравляло крепнувшее чувство ущербности. Само штатское платье, качество которого далеко опередило самые смелые мечты его прежней директрисы, делало его белой вороной среди парадных православных ряс и белопенных католических кружев. Партикулярные протестантские костюмы, мелькавшие там и сям в залах заседаний, едва ли могли утешить: в глазах моего мужа женское священство, принимаемое в протестантском мире, делало и протестантов-мужчин не вполне полноценными священниками. Может быть, именно мысль об этой не всеобъемлющей полноценности навела его на другую: испросить разрешения владыки носить *реверенду* – твердую черную полоску с белым клинышком, которую священники-протестанты заправляют под воротник. Владыка разрешение дал. В нашем гардеробе появились черные рубашки с особыми воротничками, приспособленными под реверенды.

Слушая рассказы о недостижимо прекрасных странах, я радовалась подаркам, которые муж привозил (у него открылся особый талант подбирать истинно красивые вещи), и книгам «Посева» или «ИМКА-ПРЕСС», которые он возил в дом полными чемоданами. Большею частью это была религиозная литература. Таможня пропускала безо всякого – как литературу по специальности. Книги *нерелигиозные*, которые попадались время от времени, провозил владыка Николай, имевший привилегию прохода через депутатский зал. Он сам предложил однажды, сказал: «Если *какие-то* книги, положите в сумку и отдайте мне. Меня не досматривают».

Религиозные книги, попадавшие в наш дом, муж пестовал особо, выделяя для них отдельные полки. Нерелигиозные («Вот, смотри, сунули Гумилева») как-то само собой доставались мне. Нет, конечно, муж радовался *обладанию* – эти книги украшали редкие *университетские* стеллажи, – однако открывал их нечасто, может быть, вследствие чрезвычайной занятости. Я же норовила влезть и в те и в другие, не делая между ними особого различия.

Частые поездки и связанные с ними конфиденциальные разговоры, касавшиеся стратегии и тактики ответов на *неудобные* вопросы, еще больше сблизили мужа с владыкой. Конечно, владыка никогда не советовался с мужем, как бы половчее ответить на трудный международный вопрос: думаю, что в своей международной деятельности он прислушивался к *другим* советчикам, однако изрядная доля лукавства, необходимая в острых случаях (владыка Николай не мог не знать разницы между *истинным* и *правильным* ответом), становилась чем-то вроде их общего греха. Один произносил, другой переводил. Казалось бы, вся ответственность лежала на первом, но ведь именно слова второго достигали ушей слушателей, собравшихся со всего мира. Так или иначе, но между ними возникли доверительные отношения, в какой-то степени основанные и на общей детской памяти. Однако они никогда не переходили грани, определенной иерархией, и все-таки, когда однажды теплым женеvским вечером владыка пригласил мужа в свой номер и предложил выпить коньячку – с

устатку (в тот день владыка выдержал тяжелый католико-протестантский натиск по вопросу о действиях СССР в Афганистане: он вынужден был уклончиво их оправдывать), муж рассказал ему о своей беде второбрачия, о которой владыка, оказывается, знал, но обещал что-нибудь придумать – со временем.

По горячим следам муж не рассказал мне об этом разговоре, я узнала о нем много позже, однако и сама, глядя темные рубашки, приспособленные под жесткий ошейничек реверенды, частенько возвращалась к мыслям о его неладающейся карьере и привыкала думать о себе как о грехе, камнем лежавшем на пути в его церковное царство. Дружеские шутки нашей первой зимы – «Ради тебя он пожертвовал школьной карьерой» – всплывали в моей памяти, и, аккуратно вода утюгом, я с женским раздражением загодя винила его в том, что если теперь он говорит о первом браке с сожалением, с еще большим сожалением вскоре заговорит и о втором.

В институте дела шли своим чередом, я писала курсовики и рефераты то по технологии отраслей промышленности, то по анализу хозяйственной деятельности, а вечерами, в особенности во время его длительных отлучек, читала книги, привезенные в чемоданах. Эти книги, и внешним видом разительно отличавшиеся от тех, что попадались мне раньше (светлые матовые обложки – так и хочется сказать: лица – и толстые листы неразрезанной бумаги, выходявшие из-под моего неумелого костяного ножа бахромчатыми), постепенно заполняли мое свободное время, часто в ущерб институтским обязанностям. Не делая различия, я читала все, что попадались под руку, однако сердцем склонялась к тем, которые – не решаясь высказать это вслух – помещала на полпути между литературой и церковью. Короче говоря, мою душу захватывали религиозные философы, в особенности Флоренский и Бердяев.

Бывало, я засиживалась до утра, чтобы, проспав часа два-три, явиться ко второй паре, и, слушая лекцию по экономической статистике, еще и норовила прикемарить. Конечно, по-настоящему я никогда не засыпала, но, слушая монотонный голос, вещавший о парных показателях, внутренне погружалась в ту или иную книжную фразу, размышляя о ней так и эдак. Предметы, которые я изучала в институте, от этих тем отстояли далеко, а потому, в общем, не входили с ними в противоречие. Исключение составляла философия.

На лекции, посвященной категориям необходимого и случайного, я неожиданно для себя подняла руку и горячо возразила профессору, принуждая его признать мою правоту: если кирпич упал на определенную голову, то по отношению к данной голове этот роковой случай не является случайностью. Ну, то есть, к примеру, если кому-то сильно и постоянно не везет, что-то от раза к разу не складывается, глупо списывать все на простые совпадения. Не решаясь на явные ссылки, я приводила доводы, почерпнутые из бахромчатых книг, и в конце концов договорилась до того, что потребовала от профессора безоговорочного признания высшей силы. Аудитория, вначале слушавшая с интересом, постепенно его теряла, поскольку не успевала следить за ходом нашей полемики, которой мы предавались до конца пары с истинно философской страстью. Профессор входил в раж, ссылаясь то на римлян, то на греков, я же в ответ обличала его в том, что нельзя же – на исходе двадцатого века – делать вид, будто две тысячи лет назад ничего *особенного* не произошло. Отчаявшись, он привел дурацкую цитату из Энгельса о бессилии дикарей в борьбе с природой, но сам же махнул рукой, предвидя мой следующий ход. Я уже открыла рот, чтобы, вконец позабыв об осторожности, перечислить ему пять-шесть имен этих *дикарей*, но тут прозвенел звонок. Дома, поразмыслив и порывшись в бахромчатых книжках, я нашла новые беспроегрешные доводы, но, прикинув возможные последствия, больше не открывала рта. На лекциях он объяснял марксистско-ленинские постулаты, изредка косясь на меня, и я, исправно записывая под его диктовку, иронически и многозначительно улыбалась, так сказать, в усы.

В конце года на экзамене, когда я, дисциплинированно и миролюбиво исписав листочек, села напротив, профессор не дал мне раскрыть рта. «Знаю, знаю, все знаю». Широким жестом он пододвинул мою зачетку и вывел «отлично» в подведомственной ему графе. До сих пор у меня нет внятного объяснения причин такой решительности. Первое и простейшее объяснение, которое приходит в голову, – это тайное согласие профессора-атеиста с моими бахромчатыми доводами, согласие, которое он не желал обнаруживать в присутствии комиссии. Заведи я свою пластинку, ему пришлось бы прервать меня и выставить неудовлетворительный балл. Если это объяснение и верно, профессор сильно переоценивал мою бесшабашность. У меня не было мысли рискнуть отличной оценкой ради сомнительного удовольствия высказаться «по правде». Листочек, исписанный мною, слово в слово повторял параграфы учебника. А может быть – и это объяснение кажется мне более приятным, – ему не хотелось, чтобы я, сидя напротив комиссии, говорила то, во что не верю: повторяла, с моей точки зрения, заведомую ложь. Греха понуждения он не хотел брать на себя.

Я не стала рассказывать мужу об этом противостоянии, впрочем, счастливо завершившемся, однако рассказала о другой истории, которая случилась по весне. На очередном факультетском собрании секретарь комсомольской организации Сережа Анисимов объявил персональное дело Лильки Струпец, которая училась в нашей группе. Стыдливо спотыкаясь, он огласил суть. Для меня, не больно-то интересовавшейся текущими общежитскими сплетнями, это стало новостью. В общем, не то кто-то донес, не то поймали с поличным, но Лильку обвиняли в небескорыстном сожителстве с иностранцем, мало того – с негром. Двойная подоплека – расовая и политическая – выводила дело далеко за рамки бытовой аморалки. Сложись все по-бытовому, никто бы и ухом не повел. Но тут подключилась администрация, и дело запахло исключением. «Никто бы не пронюхал, в общежитии-то не встречались, Лилька моталась к нему на квартиру, кто проследит? Сама язык распустила. Наши знали давным-давно: негр – красавец, богатый папочка, что ни каникулы – отдыхает в Париже, подарки дарил шикарные, да и мужик – что надо, влюбилась, как кошка», – соседка по парте шептала воодушевленно. «А ему что будет?» – «Ну ты даешь! Кто же негра тронет – иностранца...»

Дело продвигалось вперед. Стыдливый Анисимов покончил с обвинением. Теперь, по протоколу, Лильке полагалось последнее слово, за которым должно было последовать всеобщее голосование. Вообще говоря, исход голосования было трудно предугадать: судя по смешкам в зале, народ был настроен мирно и в этом настроении мог, паче чаяния, проголосовать за пустой выговор. Лилька сидела на передней скамье, дожидаясь, когда пригласят. В течение Сережкиной речи она изредка оборачивалась назад, прислушиваясь к шумку. Ее волосы, обычно распущенные по плечам, теперь были строго зачесаны к вискам и убраны в хвост. Игривое настроение докатилось до президиума. «Ну, иди, расскажи, как ты дошла до жизни такой!» – секретарь закивал Лильке, и она, слегка сутулясь – одно плечо выше другого, пошла к кафедре, но едва успела дойти, когда дверь открылась и в аудиторию вошел ректор. Махнув рукой, чтобы не вставали навстречу, он прошел и сел в президиум. Ректорская седовласая голова повернулась к Лильке и приготовилась слушать.

Секретарь растерялся: ни с того ни с сего, как будто начиная заново, он опять вызвал Лильку. Стало тихо, словно сбой, случившийся по его растерянности, что-то изменил и взаправду. Лилька стояла, глядя в зал. Новая Сережкина интонация, повисшая в воздухе, меняла ее лицо. Лилькина веселая красота, приглушенная зачесанными волосами, исчезла. Губы сморщились, верхняя дернулась вверх, подбородок – следом. Подурнев, она стала похожей на свою деревенскую мамашу, обряженную в модное. Короткая мятая юбка, вывернутая в сторону, торчала криво. Рука одергивала ее, цепляя за край. Лилькины короткие пальцы топорщились судорожно. Голос, не похожий на Лилькин, говорил униженные слова. Голос сочился из сморщенных губ, силившихся сложиться виноватой улыбкой. Существо, стояв-

шее перед нами, больше не было Лилькой. Маленькой гладкой головкой оно кивало в такт своим покаянным словам.

Во мне стало пусто, ничего, кроме стыда, страха и отвращения. Я смотрела на Лильку, стоявшую в просторной зале, но видела маленькую комнатку, в которой, запертое в четырех стенах, сидело другое – уродливое – существо. Она остановилась и замерла. Переждав, секретарь поставил вопрос на голосование. Ректор поднял голову и оглядел зал. Я оглянулась. Под ректорским взглядом все изменилось. Глаза, смотревшие на Лильку, стали тяжелыми, как камни. «Не имеют... Не имеют права!..» – билось в мои виски. Встав с места, я пошла вперед по проходу. Что-то поднялось во мне, ударило в сердце, уперлось поперек. Под стыд и отвращение, колом стоявшие в горле, я вышла и встала рядом с Лилькой. Я не знала, что скажу, я не знала, что делать, но я знала – *как*.

По памяти, уцепившись за нее, как за последнее, я дунула и плюнула, отрекаясь от страха, и зажгла чужим сияющим светом свои глядящие на них глаза. Свет, не имевший силы, полился из моих глаз. Я одела свой взор чужим сиянием, как крепкой броней. Тяжелые камни падали из их рук на землю, когда мой голос, странный и неузнаваемый, произносил чужие, полные сиянием слова. Бахромчатые книги говорили моими губами. Их обложки стояли перед моими сокурсниками – лицом к лицу. Они говорили о любви и боли, о жалости и милости, об уродстве и красоте. Никогда прежде мои губы не произносили этих слов. Я остановилась и обвела глазами: все было кончено. Лучше бы ему не ставить на голосование, потому что теперь, когда книжное сияние погасло, не поднялась ни одна рука. Ректор не изменился в лице. Оглядев напоследок, он поднялся и покинул аудиторию. Вслед за ним вышла и Лилька. Уже от двери она бросила на меня спокойный безгрешный взгляд.

Дома я рассказала мужу. Гордость победы переполняла меня. Вспоминая новые подробности, я рассказывала, все больше воодушевляясь. О глазах, налитых каменной решимостью, о сиянии, растопившем камни, о том, что если взяться за дело – в конце концов можно растопить. Муж слушал внимательно, время от времени переспрашивая. Иногда отпускал скептические замечания. Я не ждала восхищения, а просто думала о том, что он, положившийся на церковную правду, должен радоваться моей победе. «Знаешь, ты ведь рисковала, – теперь, когда мой рассказ окончился, он качал головой, не одобряя моего безрассудства. – Вряд ли они так оставят. Тебя должны вызвать». Мне показалось, что его воодушевляет мысль о возможном преследовании.

Теперь, когда я возвращалась домой, муж неизменно справлялся, однако меня так и не вызвали. Казалось, никто и не вспомнил об этой истории – как не бывало. Через несколько дней муж, случайно встретив на Невском кого-то из *удачливых* университетских, упомянул фамилию моего ректора как бы между прочим и немедленно получил ответ: на эту должность Лаврикова перевели из обкома партии, где он курировал не то литобъединения, не то всю неформальную литературу. Моей историей муж – из понятной осторожности – делиться не стал, однако дома, рассказав о ректорской карьере, предостерег меня от дальнейших безоглядных выступлений: «Поверь мне, *этот* ломал и не таких, как ты».

Приходя на занятия, я косилась на Лильку, ожидая, что она-то подойдет и поблагодарит. Я ждала благодарности, но Лилька молчала, и все-таки я знала – помнит. Иначе зачем бы ей коситься на меня, смотреть во время лекций, поглядывать на перемене? Дней через десять она подседа ко мне и ни с того ни с сего предложила купить у нее американскую помаду – по дешевке. «Тебе – без наценки, как сама брала». Раньше она никогда... Я растерялась и протянула руку. «Двадцатник», – Лилька смотрела весело. Прежняя веселая красота вернулась к ней. «У меня сейчас нет». – «Ну, завтра принесешь, *тебе* я верю». Я кивнула, и тут Лилька повела глазами, как будто примерилась подмигнуть, но не подмигнула, а только сморщила крашенные губы. Верхняя дернулась к носу, подбородок – следом, и все лицо, мгновенно подурневшее, сложилось в пустую покаянную гримаску. Не Лилька – Лиль-

кина мамаша, обряженная в модное, показывала мне, ее сообщнице, *то* – покаянное – лицо. Господи, я подумала, а я-то... Ради этого умелого кроличьего личика... Все оборвалось во мне, стало глупым и бессмысленным. «Нет, для меня это слишком дорого», – решительной рукой я возвратила патрончик.

Дома я не обмолвилась о позоре. После двух недель ожидания муж предположил, что в отделе кадров справились, где надо, и выяснили место его работы. «Не то время, предпочли с церковью не связываться, – он по-своему объяснил их молчание. – Видишь, есть свои преимущества. Если бы не *это* – уж они бы тебя сожрали». В его объяснении сквозила законная гордость. Стараясь изгнать самое воспоминание о Лильке, я вдруг подумала, что отдел кадров похож на таможеню – одним можно, другим нельзя.

От этих *других* я отвернулась сама. Решительным сердцем я возвращала им их лживый сморщенный мир. Никто из них не стоит того, чтобы вмешиваться и рисковать. Все книги на свете, изрезанные неумелыми ножами, бессильны перед их умением, перед их губами, сморщенными хитростью. Вспоминая философские диспуты, я говорила себе: все, что случается с ними, – неслучайно. Их уродство – в них самих, свилось порушенным геном, дожидаясь своего часа. Безоговорочно я вставала рядом с бахромчатыми книгами, стоявшими между церковью и литературой. Вслед за мужем, отступившимся от прошлого, но не сумевшим стать священником, я надевала на себя реверенду.

С холодным и оскорбленным сердцем я размышляла о том, что этот закон, если взглянуть на дело исторически, явственно похож на другой, плоды которого, стоило закрыть глаза, услужливо вставали предо мною. Я видела красавицу Милю, стоявшую рядом с сестрой, чье лицо, испорченное заячьей вздернутостью, еще нельзя было назвать уродливым. Когда-то давно, сто лет назад, *они все* были красавцами – я помнила страницу учебника, с которой, рассаженные в два ряда, смотрели рабочие Путиловского завода. В их лицах, как в цельных непорученных сосудах, спокойным матовым светом сияло достоинство. Знали ли они, *что* передают своим детям: порушенный ген, который выходит на волю трусливо вздернутой губой. С тоской я думала, Господи, что это я – про детей, если нынешние, с которыми жить мне, уже не дети – внуки. Уроды, не знающие стыда и отвращения. Нет, я отворачивала глаза и душу, мне нет и не будет дела до их переданного *с кровью* уродства. Хватит с меня и того, о чем я наконец догадалась: это уродство передается из поколения в поколение – *с потоками пролитой крови*. Теперь уже без опаски я вспоминала Митины слова о генетическом расколе, похожем на пропасть, о народе убитых и убийц, и додумывала про себя: там, наверху, губительная и страшная болезнь – царская гемофилия, здесь, внизу, – столь же губительная и страшная, но не царская – другая: болезнь порушенных генов. Обе передаются по крови.

Путаясь в словах и боясь обидеть семью отца Петра (о предательском реузус-факторе мне пришлось упомянуть вскользь и с оговорками), я поделилась с мужем своими выводами и неожиданно для себя получила поддержку. Развивая мои мысли, муж согласился с тем, что если принять за красавицу Милю то – дореволюционное поколение, еще не тронутое распадом, так сказать, поколение дедов, – приходится согласиться и с тем, что отцы, родившиеся и выросшие в первые советские времена, уже несут в себе черты вырождения, которое – теперь уже в поколении детей и внуков – расцвело ядовитым цветом. Однако здесь согласие и совпадение закончилось.

Решительной рукой муж отверг мои *кровавые* мысли, назвав их по меньшей мере странными («Твоя беда в том, что ты как-то увлекаешься...»), и предложил свое объяснение: «Все дело в безверии. Те, дореволюционные, со всеми возможными оговорками, в Бога все-таки верили. В их детях вера иссякла – тут уж государство постаралось, но что-то хорошее верующие матери все-таки передать успели, может быть, не напрямую, так сказать, без ссылок на *первоисточник*. А уж внукам...» В общем, он сказал, что готов согласиться с моим законом, точнее, с той его частью, где содержится вывод: в атеистическом государстве нрав-

ственность иссякает уже в третьем поколении. Дальше – тупик. Однако именно возрождение церкви и церковной жизни способно решительно повлиять на создавшееся положение – именно церковь может и должна найти выход из нравственного тупика. Речи мужа показались мне нарочитыми. Он говорил сдержанно и торжественно, словно, сидя на нашем диване, представлял себя стоящим на трибуне Совета церковей, теперь уже в новой, полноценной роли – содокладчика. Его голос стал другим, сильным и глубоким: вольно или невольно он повторял интонации владыки Николая.

Я не стала возражать. Я подумала о том, что если уж сумела догадаться о болезни, значит, я – другая, мне *не передалось*. В моей семье не было ни доносчиков, ни репрессированных, а значит, потоки крови, по которым *оно* передается, чудесным образом обошли меня. Так я думала, с каждым днем погружаясь все глубже, упиваясь своей незаконной гордостью, которую Лилька, исполненная врожденного уродства, сумела походя уязвить. Незаживающая язва ныла и ныла, так что вечерами, зажигая один за другим электрические светильники, я не находила себе места. Однажды, повинувшись внезапно нахлынувшей мысли, я распахнула створку гардероба и встала перед высоким зеркалом: примерить чужое уродство – на себя. Так я замыслила: попробовать, чтобы раз и навсегда убедиться в том, что здорова.

Внимательно вглядываясь в свое отражение, я храбро шевельнула губами. Моя храбрость не была безрассудной: втайне я твердо верила, что, избранные бахромчатыми книгами, мои губы не могли сложиться *по-лилькиному*. Сморщив, я дернула верхней. С моей стороны это была провокация. Теперь, если построения верны, губы должны распасться сами собой так, как при свете ясных и бесспорных фактов распадается пустой наговор, измышленный врагами. Бесспорным фактом, на который я могла положиться, было мое открытое противостояние ректору, облеченному обкомовской властью. Поступок из тех, которыми можно гордиться. Гордость смотрела на меня моими глазами, и под ее пристальным отстраненным взглядом моя верхняя губа дернулась вверх, подбородок двинулся следом, и жалкая виноватая улыбка, которой я в себе не подозревала, задрожала мне навстречу из другого, прошлого, зазеркального мира. В нем – исчезнувшем и опрокинутом – стояло мое уродливое отражение: я сама вызвала его. Собрав побольше слюны, я плюнула и отшатнулась. Я уже знала, как это делается, я знала, от чего отрекаются плевками. Теперь *оно* должно было исчезнуть.

Изо дня в день, снова и снова надеясь на чудо, я возвращалась в свой дом. Стены, оклеенные теплыми обоями, окружали меня. Мое жилище было тихим и светлым, но глаза, уже видевшие другое, не могли не видеть. Там, на глубине, стояли серые бесстыжие стены, в которых томилась моя душа. Все плевки на свете были бессильны против моей гордости. Господи, теперь я завидовала Лильке, умеющей складывать губы в пустую покаянную гримаску. Ее уродство, лишённое гордости, было невинным и безопасным. Мое, замкнутое в бетонной клетке, было другим. Я сама была грехом, и не было никого, перед кем, в тайной насмешке, могли бы сморщиться мои губы. Мое уродство было безысходным и беспросветным, как западня. Оно проступало в нетерпеливом жесте мужа, заправлявшего жесткую реверенду под стойку воротничка, в его презрительной интонации, с которой он отзывался о тетках-священницах, в его голосовых связках, вещавших сильным голосом владыки ректора, на которого, в своих тайных и незаконных надеждах, он раз и навсегда положился.

Гордость разрешается покаянием: об этом говорили со мной мои бахромчатые книги, я верила им – иного пути нет. Однако теперь, когда мысль о его неизбежности завладевала мною, само бахромчатое покаяние становилось иным. Оно смотрелось в другое зеркало, в котором, еще неведомые бахромчатым книгам, отражались времена убывающей любви. В этих новых временах оно становилось мучительным и принужденным, похожим на Лилькину постыдную историю. Разница заключалась в том, что рядом со мной – на моей одинокой кафедре, куда я должна была взойти – кривовато сутулясь, одно плечо выше другого, – не было никого, кроме моих книг, кто встал бы рядом со мной.

Неуклонно я думала о силе, с которой рано или поздно мне предстоит сразиться. Силе, которая и влекла, и пугала меня. Я думала о том, что наши шансы неравны. Что я могу одна против этой неодолимости? С ужасом, толчками бившимся в горле, я представляла день, когда, ставшая похожей на Лильку, я буду кивать в такт своим покаянным словам.

Теперь, когда уходящая жизнь медленно и неуклонно смыкается над моей головой, я уже с трудом могу объяснить себе, зачем, заранее обреченная на поражение, я ввязалась в эту схватку. Глядя назад и размышляя обо всем, что уже случилось, о том сражении, которое я приняла *на их поле*, я удивляюсь своей безоглядно растроченной смелости. Может быть, страсть противостояния, гулявшая в крови многих, кому довелось жить в *ту* эпоху, не обошла стороной и меня? Неужели дело лишь в том, что в те, прежние, *наши* времена каждый сражавшийся сам выбирал себе противника? Если это правда, то в моем случае – даже сейчас мне нелегко в этом признаться – мой выбор вряд ли был истинным выбором. Все сложилось так, как сложилось: ходом вещей. Я была похожа на бабочку, летевшую в открытое пламя. А может, все дело в молодости, которая, выходя на битву, поднимает забрало. Открывает свое лицо...

Крылья мои сгорели, все реже и реже я возвращаюсь к прошедшим временам. История моего противостояния давно завершилась – моим поражением, но и не их победой. Время от времени я все-таки думаю об этом, и каждое мое возвращение оказывается окрашенным в свой цвет. Иногда я вспоминаю их всех, из которых ни один не ушел с победой, и тогда у меня темнеет в глазах. Иногда думаю о зловещей схватке, в которой против моей беззащитной и страстной искренности выступала неборимая сила, несущая в себе всеобъемлющий опыт выживания и обуздания (победительный опыт, встречавший смельчаков и гордецов, polegших на этом поле), и глаза мои застилают красным.

Иногда, может быть, по какой-то врожденной тяге к объективности, я говорю себе: сила, против которой ты сражалась, приходит на помощь страждущим, утешает безутешных. И тогда я соглашаюсь: да, смиренные – хорошие наследники. Кто как не они наследуют землю? Незачем им, сильным в своем смирении, слышать хруст наших слабых костей. И я говорю: да, мы все выбираем по себе, но если дело доходит до дела, что ж, значит, так тому и быть, и сердце мое, подернутое пеплом, снова загорается багровым.

## Гонимые и гонители

По временам страхи, терзавшие меня, отступали. Дом, украшенный моими руками, снова становился тихим и светлым, словно и не было серых пугающих стен. Водя рукой по светлым обоям, я думала о том, что если крещения мало, значит, я должна обживать свою веру, как заново построенный дом. Слова мужа о церкви, выведившей из нравственного тупика, звучали во мне по-особому: я готовилась принять ее, как лекарство, спасающее от болезни. В такие времена я гнала мысли о вместилище греха и, поминая советы отца Петра, призвавшего меня к церковной службе, отправлялась в Никольский собор.

Вечерние службы, радовавшие меня своей немногочисленностью, проходили в нижнем храме. Я вступала тихо и, перекрестившись на далекий алтарь, мягко освещенный занимающимся светом паникадил, еще горевших вполнакала, уходила в правый дальний угол – ближе к тому месту, где, видимый мне одной, стоял – обтянутый красноватым ситцем – бабушкин гроб. Я старалась прийти пораньше, пока служба еще не началась, чтобы видеть, как в полумраке тусклых паникадил постепенно загораются желтые отсветы – поднимаются острые, дрожащие в воздухе огоньки свечей. Меня окружали высокие стены, увешанные иконами, писанными тяжелым маслом. Привыкая к полумраку, висевшему в воздухе подобно мелкой пыли и разъедавшему глаза, я выходила из своего угла и, тихо обойдя колонны, вступала на открытое пространство. Вслед за какой-нибудь старушкой, шедшей передо мною, я подходила к иконе, укрытой серебряной ризой, и прикладывалась губами. Потом я снова уходила в свой уголок, где и дожидалась начала службы.

Она начиналась почти неприметно. Из боковых врат выходил чтец, несущий тяжелую книгу. Устроив ее на возвышении, он открывал страницу и принимался читать протяжной глуховатой скороговоркой. Протяжная глуховатость, мешавшая разбирать слова, наполняла пространство. Поднимаясь к свету постепенно разгоравшихся паникадил, она вела к минуте, когда царские врата отворялись и недлинной чередой выходили священники. В такие будние дни их выход не отличался торжественностью. Серебро непраздничных облачений поблескивало тускло. Уже вступив на открытое пространство амвона, они перебрашивались словами, не долетавшими до ушей прихожан. Наверное, они обсуждали ход предстоящей службы, однако мне – скрытой в полумраке за колоннами – казалось, что они продолжают беседу, начатую в алтаре. Мне было приятно думать, что они, прежде чем начать службу, спешат поделиться друг с другом чем-то обыденным – может быть, рассказать о домашних делах. Их – божий – дом оживлялся простыми, обыденными беседами: подобно нашим ежевечерним разговорам под задернутым клетчатой тканью окном. Возможно, меня вводила в заблуждение простоватая обыденность их лиц. Их спокойные глаза, не знающие сияния, смотрели мимо предстоявших. Редкая толпа прихожан, собравшихся пред их глазами, была предоставлена самой себе.

Состав прихожан был пестрым. В большинстве это были старухи, повязанные теплыми платками. Они крестились и подпевали невидимому хору высокими, дрожащими, как свечи, голосами. Эти старухи всегда приходили одни. Наверное, их домашние умерли. Приглядываясь, я укреплялась в мысли, что старухи молились за себя. В их лицах стояло покорное одиночество – русская смерть, забывшая о них, уже прибрала детей и внуков. Пришла без срока и унесла в кровавых потоках. Старушечье одиночество проникало в мою кровь. Истово крестясь, старухи бормотали вялыми губами, но я – незаконный наблюдатель – не могла избавиться от ощущения, что они опоздали. Их рассерженные глаза, которыми они, отвлекаясь от молитвы, провожали молодых, выдавали их прошлое – в прошлой, молодой жизни они истово верили в *другое*. Другая, рассерженная вера освещала их прожитые жизни, когда

по утрам, отправляясь на работу, они, свято веря каждому слову, слушали черные вороненые раструбы, вбитые в деревяшки фонарных столбов.

*Еще молимся о богохранимой стране нашей, властех и воинстве ея...* – старухи крестились согласно. Я смотрела на них и силилась увидеть свою бабушку, но не находила даже внешнего сходства. Ее глаза никогда не бывали рассерженными. Я не могла представить ее стоящей среди других и кладущей земные поклоны. Бабушкины молитвы были тихими и ночными: я помнила шелест губ, долетавший до моих ушей. Белой фигурой она стояла на коленях у постели, когда весь дом спал. Так и выстояла из года в год – одна, и, может быть, поэтому мне не хотелось объяснять иначе – никого из нас *не тронуло*. Она умерла хорошей, не русской смертью – раньше детей и внуков. Я думала о том, что в своей вере хочу походить на нее.

Были и женщины средних лет, плохо одетые, повязанные черными гипюровыми платками, похожими на узкие шали. С собой они приводили детей. Детей ставили в первый ряд – к самому амвону. Эти дети, словно приведенные в город из дальних сел, отличались от тех, с кем я когда-то училась. А может, они просто робели.

Время от времени попадались и странные фигуры, одетые с каким-то сумасшедшим шиком. Мне запомнилась одна, приходившая особенно часто: широкополая шляпа с вуалью (иногда ее сменяла пестрая шапочка, украшенная вязаными розами), длинная юбка, торчащая из-под крепко перехваченного в талии пальто. Женщина стояла особняком, подчеркнута не сливаясь с народом. Однажды, выхватив ее из толпы, я представила, *как*, собираясь на службу, она наряжается перед зеркалом.

Мужчины были редки. Конечно, старики нет-нет да и встречались, но их фигуры как-то терялись среди старушечьих. Молодые бросались в глаза сразу. Чем-то похожие на Родиона Раскольникова, они носили бородки и темные долгополые пальто. Про себя я прозвала их разночинцами.

Тем временем служба шла чередом. Невидимый хор все чаще вступал из глубины балкона. Хор опевал слабые священнические голоса. Взгляды священников становились собранными. То коротко и властно взглядывая на прислужников, то опуская глаза в поклоне, они привычно перенимали нужное друг у друга из рук. Иногда отдавали в руки безмолвных служек, чтобы те отложили в сторону, и эти короткие передачи завершались быстрыми мимолетными поцелуями, с которыми прислужники склонялись к отдающей руке. Вскоре наступала минута, когда из боковых врат выходили иподиаконы, выносившие высокие свечи. Вслед за ними из царских врат выступал архиерей. Двух- и трехсвещия, перекрещенные в воздухе, восходили над толпой. Огромные свечи медленно клонились к предстоявшим, и им навстречу, долгой волной, начинавшейся от нефа, опускались головы – под благословение. До последней секунды не отводя глаз, я ловила миг, когда свечи, достигнув самой высокой точки, начинали крениться в мою сторону, и тогда кланялась. Стоя в поклоне, я слушала свое сердце, полнившееся теплотой. Вечные слова красоты и истины омывали мою душу, встававшую из поклона.

Вслед за дьяконом выходили служки с металлическими кружками и углублялись в ряды. Звон собираемых монет отдавался во всех углах. Я клала и свою лепту.

Тихо, никого не тревожа, я выбиралась по стенке и, в последний раз перекрестившись, уходила домой. Спускаясь в метро на Сенной (подходя, я всегда вспоминала, что прежде здесь была церковь, которую взорвали вскоре после моего рождения), я глядела на людей, поднимавшихся мне навстречу, и думала о том, как сильно они отличаются от оставленных в храме. Различие было столь явственным, словно перед моими глазами, с перерывом в полчаса, проходили два народа, населявших разные страны. Ясно видя это различие, я еще не умела определить его своими словами, а потому пользовалась Митиным словом – *раскол*.

Усталость и простоватость были написаны на лицах моих случайных попутчиков. Держась за поручни, они двигались, не замечая никого вокруг, словно мысль о скором возвращении домой поглощала их целиком. Изредка взглядывая на тех, кто двигался навстречу, они отводили невидящие глаза. Некоторые, стоявшие парами, перебрасывались короткими словами, и это движение губ, произносивших что-то неуловимое для моего слуха, напоминало короткие разговоры священников, вступающих на амвон. И те и эти говорили о своем, что не касалось посторонних. Однажды я вдруг подумала: соборные священники похожи на случайных людей, поднимающихся по эскалатору. В простоватой обыденности их лиц нет и следа той сосредоточенной истовости, которая написана на лицах прихожан. Усмехнувшись, я сказала себе: да, уж если делить на народы – и пассажиров, и священников я отнесу к одному. Вернувшись домой, я поделилась своими наблюдениями с мужем. Враждебно прищурив глаза, он взялся мне возражать в том смысле, что мои наблюдения незрелы и поверхностны. Разве можно по лицам судить о внутреннем состоянии людей?

Это удивило меня. Раньше, приводя литературные характеристики героев, он напирал на описание внешности. «Прежние писатели относились к лицам с особенным вниманием, взять хоть Достоевского: скупой и точный штрих – и, кажется, образ готов. Современные этим порядком пренебрегают». Теперь, словно отказываясь от литературных суждений, он произнес длинную речь, из которой следовало, что священники глубоко переживают каждое слово службы, для меня же – человека случайного – многое из того, что происходит в церкви, остается закрытым. Снова, как в дни моего рискованного крещения, мне предлагалось научиться видеть другое – то, что крылось под оболочкой в глубине.

Я пыталась объяснить ему, что в этой усталой простоватости не вижу ничего дурного. Мне даже приятно считать священников обыкновенными людьми, которые обсуждают друг с другом семейные дела. Не умея выразить яснее, я говорила, что в этой обыденности больше надежды и покоя, чем в сияющей и рассерженной истовости. «Да, может быть, я чего-то не вижу, но их сияние – оно тоже застит, мешает им видеть меня». – «Священник – не психоаналитик, тебя ему видеть незачем», – муж объяснял, что священник и не должен – он и говорит-то не от себя. «Знаешь, – мысль, пришедшая в голову, поразила меня, – тогда я вообще не пойму, зачем: если не от себя, если меня не видят – мне-то зачем идти?» «Такие, как ты... Те, кто желает напрямую, все эти ваши разговоры – блеф. Не выходит! – его раздражение окрепло. – Может быть, таким, как ты, священник не нужен, но другим...»

Другие поднимались по эскалатору мне навстречу. «Если эти другие однажды придут, они придут к *обыкновенным* священникам, – я говорила уверенно, – и именно с обыкновенными, со *своими* они найдут общий язык». – «Если твои обыкновенные придут, они придут *не к священникам, а за ними*», – муж сказал в сердцах. Он высказался неосторожно. Мне захотелось поймать его на слове – если *так* относиться к обыкновенным людям, как же можно надеяться на их исправление? Впрочем, муж и сам понял: «Ладно, это я так, обыкновенные ни при чем». – «Вспомни, – возвращаясь к прежнему, я кивнула на стеллаж, – старец Зосима. Не было никакого сияния в его глазах».

Мой последний довод неожиданно возымел действие – муж полез за книгой. Судя по всему, мои слова подтвердились: полистав, он отложил недовольно. Посчитав спор исчерпанным, я заговорила о женщине, украшавшей себя вязаными розами. «Если бы ты встретил такую на улице, у тебя не было бы сомнений, но там, в церкви... Этих женщин надо лечить». – «Они и лечат. И этих женщин, и всех других», – прекращая разговор, он вышел из комнаты. Я помню, как он уходил тогда, помню его спину в проеме двери... Очень ясно помню, как, не разглядев своего собственного будущего, я подумала: уж эту-то, убранную розами, надо точно лечить.

На следующий день я осталась дома и, вспоминая прищуренные глаза и весь разговор, показавшийся мне неприятным, не находила себе места. Поразмыслив, я поняла причину

беспокойства. Она крылась в решительном нежелании мужа хоть в чем-то положиться на внешность. Само по себе это вряд ли могло внушить тревогу, однако за одной решимостью крылась другая: сам себя он выводил за рамки нашей любимой литературы, подталкивая к этому и меня. Надежный причал, где мы – в течение первых лет нашей общей жизни – стояли друг подле друга, сменился шаткой лодчонкой, в которой я оставалась одна. Закрывая глаза, я видела: муж уже стоит на другом берегу и протягивает руку, но я – я не могла разглядеть его пристани, скрытой в темноте и тумане. Он уходил от меня все дальше и дальше, и, вглядываясь в туман, я чувствовала, как тревога, вошедшая в меня после крещения, крепла и возвращала к скрытому, к тому, в чем даже себе я боялась признаться.

Только через месяц я снова решила съездить в Никольский.

С вечера, собираясь на литургию, я опять слушала Галича. С некоторых пор я делала так всегда. В моем сердце зрела странная мысль: не умея различить новую пристань, я силилась, не отступаясь от литературы, найти другую подходящую форму, способную стать временными мостками, ступив на которые, я прошла бы несколько шагов, приближающих меня к церковному *невидимому*. Проще говоря, мне хотелось соединить глуховатый голос моего прошлого, поющий под гитарный перебор, с другим, который казался его подобием. Всякий раз, слушая поминальные записки, поданные на ектению, я размышляла о том, каким образом к этому подступиться. Требовалось найти еще один – решающий – признак (для выявления общности одной глуховатости мало), но мысль оставалась неясной и шаткой. Я ведь даже не знала того, что поминальные записки приносят в алтарь вместе с просфорами, и священники, помяная имена, изымают из просфор частицы хлеба – одна частица за одно имя.

Не помню, что задержало меня, но в тот раз я сильно опоздала: Великая ектения прошла. Из боковых врат уже выходил дьякон – поминать. Поворотившись лицом к алтарю, он начал чтение. Поминальные записки были длинными. Не прислушиваясь к именам, почти неразличимым в возгласах невидного хора, я мысленно представляла себе людей, вызываемых из небытия этим слабым и монотонным голосом. Они шли мимо, но не бесконечными колоннами, а как будто небольшими группами, каждая длиною в записку. Снова, словно кто-то толкал меня под руку, я думала не о вечной жизни, а о смерти, выпавшей на долю каждого из них. Их смерть была общей, и именно мысль об этой общности навела меня на другую. Я вдруг представила себе сами записки, которые дьякон вынимал из кармана, но увидела их не разными бумажками, заполненными от руки, а страницами, напечатанными на машинке. Прежде я как-то не догадывалась представить себе эти строки напечатанными, но теперь, когда, поднимаясь из глубины, в мои уши вступило вчерашнее: *Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку...* – я вдруг увидела подписи, стоявшие в правом нижнем углу каждого листа. Подписи под расстрельными списками. Черные и размашистые, они выступили, словно огненные буквы из белой стены. Этих – подписавших – уже не было в живых, они ушли от своих оставленных на земле каракулей, но старушечьи руки, теперь писавшие за них, из года в год заносили их имена в свои поминальные списки.

Я слушала нескончаемый перебор и думала о том, что здесь, на моих глазах, теперь уже руками истовых старух убитые и убийцы снова мешаются – так, что теперь их уже не разделить... Эта мысль билась во мне гитарным перебором: записки подаются одинаково – *за всех. Все одной зеленкой мажутся, кто от пуль, а кто от блох...* Теперь я слышала совершенно явственно. Вот же оно... Старухи, словно сами они были убитыми, брали на себя прощение убийц. Живые, они не имеют на это права, мысль выгнала меня прочь – за стены. Эти старухи берут на себя право мертвых.

Добравшись до дома, я взялась за уборку. Складывая стопкой институтские конспекты, разбросанные по столу, я наткнулась на развернутые таблицы по анализу хозяйственной деятельности. Эти бесконечные листы я привыкла заполнять. Всмотревшись, я усмехнулась и

вырвала лист из блокнота. В качестве исходного показателя напрашивалась воля старух. По-старушечьи выходило так, будто мертвые составляют общность, не подлежащую разделению. Я уже занесла руку, но поняла, что живые – подлежат. Значит, старушечья посылка ведет в тупик: любая аналитическая таблица начинается с разделения. Хочешь не хочешь, надо делить и мертвых. Убитые и убийцы – я воспользовалась готовым разделением.

Теперь я переходила к живым, которые разделялись легко: я назвала их гонимыми и гонителями соответственно. Здесь застопорилось. Значение граф, поименованных «Убитые» и «Убийцы», сомнения не вызывало. В первую группу переходили по факту расстрела, и первая довольно часто пополнялась за счет второй. Впрочем, это мало что меняло, зато вторая группа парных показателей требовала уточнения. Додумывая на ходу, я вписала в «Гонимых» диссидентов и священников. С «Гонителями» сложнее. В моей таблице они стояли напротив «Убийц», а значит, по табличному правилу должны были обладать каким-то общим с ними признаком. Конечно, нынешних нужно было называть по-другому, но, вспомнив о преемственности поколений, о которой говорил Митя, я воспользовалась словом «большевики».

Прошлое	Новые исторические условия
Убитые (У1)	Гонимые – диссиденты и священники (Гдс)
Убийцы (У2)	Гонители – большевики (Гб)

Я уже собралась прикинуть числовые значения, но тут же заметила ошибку. Согласно моей таблице получалась статистическая формула:

$$N (\text{народ}) = U1 + U2 = \text{Гдс} + \text{Гб}$$

Первый знак равенства, если верить Мите, был корректным, второй – нет. Сумма Гдс + Гб не равнялась Народу. Люди, поднимавшиеся мне навстречу по эскалатору, не были ни священниками, ни диссидентами. Все вместе это означало, что формула не выводится напрямую. Требовалось сформулировать теорему, в которой для корректного доказательства я должна была ввести добавочный третий член.

Быстро, словно кто-то гнал руку, я писала, склоняясь над столом:

$$U1 + U2 - \text{все мертвые}$$

$$\text{Гдс} + \text{Гб} - \text{не все живые}$$

Определяющий признак – *все*. Следовательно, для уравнения правой и левой частей необходимо к правой части добавить *новое множество*, обеспечивающее всеобщность. Оно состояло из *остальных* живых. Это множество было аморфным по определению – не обладало достаточными признаками того, чтобы быть отнесенным либо к группе Гдс, либо к группе Гб. Однако по правилу таблицы – от этого некуда деться, в его формуле должно было

присутствовать качественное разделение: в противном случае первый столбец таблицы не мог соответствовать второму. Я поняла, что таблица увязывается единственным образом:

Вечность	Прошлое	Настоящее
Н (народ)	Убитые (У1)	Гонимые (Г1) + Н Г1
	Убийцы (У2)	Гонители (Г2) + Н Г2

где НГ1 – доля аморфного множества живущих, потенциально примыкающих к гонимым;

НГ2 – доля аморфного множества живущих, потенциально примыкающих к гонителям.

Теперь общая формула выглядела так:

$$N = U1 + U2 = (G1 + N G1) + (G2 + N G2).$$

В таком виде она становилась корректной.

Оставалось сделать последний шаг – определить состав и, в случае особенной удачи и достаточности данных, найти числовые значения НГ1 и НГ2. Данных у меня не было. Я смяла листок.

На следующий день, вспоминая выкладки, я вдруг подумала о том, что если церковь не видит коренной разницы между убитыми и убийцами, она не должна, по логике вещей, признавать и разделения на гонимых и гонителей, иначе ее формула, по крайней мере применительно к СССР, никогда не будет доказана. Больше того, не признавая этого существенного разделения, служители церкви не замечают опасности, похожей на разверзающуюся пропасть: самим оказаться в той части аморфного множества, которое примыкает к гонителям. Здесь мне показалось, что я захожу слишком далеко.

\* \* \*

В тот год пасхальная служба пришлась на начало апреля. Муж заговорил об этом заранее в связи с началом Великого поста. С какой-то особенной радостью, которой я удивлялась, он перечислял постные блюда, подаваемые в академической столовой. Теперь, возвращаясь с работы, он ежевечерне цитировал академическое меню, в которое входило рыбное. «Я действительно чувствую легкость в теле... Просто удивительно!» Всегда равнодушная к еде, я слушала вполуха, тем более что дома он и теперь ел без разбора – все, что подам.

Ближе к апрелю муж заговорил о том, что семьи священников, служащих в Академии, по традиции встречают Пасху в академическом храме. Семьи преподавателей тоже. На праздничную службу пускают по пригласительным билетам. Их надо предъявлять на подступах: все входы перегородят кордонами, в которых будут стоять специально привлеченные комсомольцы. Формально этих комсомольцев выставляют для того, чтобы следить за порядком: вылавливать пьяных хулиганов, которые в своем атеистическом недомыслии могут осквернить пасхальную службу. В действительности же вся эта болтовня о хулиганах

– вранье. Все делается для того, чтобы не пускать в храмы молодежь. Церкви приходится с этим смиряться, поскольку территория, окружающая лавру, формально принадлежит государству. Об этом муж говорил с горечью. В последнюю пятницу он принес два билета, на одном значилась моя фамилия. Выкладывая их на стол, муж заметил, что многие хотели бы получить такой билетик, да немногие получают.

Пасхальная служба начинается ближе к полуночи, но гости, ищущие места поближе, заполняют храм заранее. Конечно, для нас, приглашенных особо, будут огорожены специальные места, но прийти надо пораньше, чтобы не попасть в сутолоку. По поводу того, как мне следует одеться, муж ничего не сказал. Обдумывая наряд, я старалась избежать крайностей. Мой выбор остановился на темно-синем нарядном платье, которое муж привез из Женевы. Платье было длинным – ниже колен, но довольно глубоко вырезанным – не закрывало шею. Голову я не повязала. Перед выходом из дома я показала мужу, и он одобрил с энтузиазмом. «Ничего, что без платка?» – я спросила нерешительно. «Ерунда!» – он махнул рукой весело, мне показалось, как в прежние времена.

В этот час на площади перед лаврой народу было мало. Узкие струйки людей, которых я теперь узнавала с одного взгляда, переходили от метро к главным воротам. У входа я заметила группу парней с красными повязками на руках. Мы свернули направо: через сад короче. В узком переулке, ведущем к деревянному мостику, было безлюдно. Мы уже перешли мостки, когда один из парней, скучавших в оцеплении, отделился от своих и, заступив нам дорогу, попросил предъявить билеты. Улыбаясь простоватым, совсем деревенским лицом, он протягивал руку. Я потянулась к сумке и, уже открыв, взглянула на мужа. То, что я увидела, поразило меня. Прежде *этого* не бывало.

Его лицо напряглось и стало страшным. Выступившая шейная жила дернулась в судороге, взгляд, остановившийся на комсомольце, загорелся ненавистью. «Изыди!» – я услышала низкий голос, тяжелый, как камень. Парень отступил. Его протянутая рука упала, словно перебитая. «Простите, батюшка...» – он отступал к своим шаг за шагом. «Бог простит», – не удостоив взглядом, муж пошел вперед. Растерянная, я поспешила за ним и, уже почти нагнав, услышала смех, вспыхнувший за моей спиной. Не сбавляя шага, я обернулась. В кругу своих парень разводил руками, что-то объясняя. Поравнявшись, я пошла рядом с мужем. Его лицо оставалось чужим. Натянутая шейная жила дергалась и дергала щеку. Мы шли вперед, но отрывочные мысли, короткие и судорожные, бежали в моей голове... Чтобы Бог простил, комсомолец должен умереть... Они умеют только с мертвыми... Мертвого, его помянут с земли... Этот народ соединяется только под землей...

Пройдя по темному лаврскому саду, мы вышли к Академии. В сквере, разбитом у входа, было светлее. Над входными дверями горел уличный фонарь, под свет которого уже собирались ранние гости. Одним кивая, с другими здороваясь за руку, муж продвигался уверенно. Быстро оглядевшись, я подумала, что здесь прихожане другие. В их лицах сияла обычная праздничная радость, какая бывает на любом празднике. Казалось, все друг с другом знакомы: женщины обменивались поцелуями, некоторые мужчины целовались троекратно. Мы поднялись по лестнице и, пройдя длинным коридором, подошли к приоткрытой двери. «Тут можно оставить пальто и подождать, я – скоро», – муж оставил меня у входа. Помедлив, я вошла.

Просторная комната напоминала приемную. По стенам, увешанным тяжелыми портретами, стояли стулья и кресла. Женщины, девушки и дети сидели здесь и там. Взглянув на меня мимолетно, они вернулись к оживленной беседе. Я расстегнула пальто и присела. Разговор шел о куличах. Женщина средних лет, чей рассказ на секунду прервало мое появление, продолжала деловито и увлеченно. Она говорила о трудностях, с которыми столкнулась на этот раз: несвежие дрожжи, тесто плохо поднималось, совсем не успело *выходить*. «Волнуешься каждый раз – подойдет не подойдет, тесто-то тяжелое, потом еще творог – ком-

ками, пока перетрешь...» В разговор вступили другие – каждая о своих куличах. Девушки, сидевшие под присмотром матерей, время от времени поднимались и шли к высокому зеркалу, закрывавшему простенок. Оглядывая себя с головы до ног, они вполголоса обсуждали туалеты. На мой взгляд, обсуждать было нечего. Не по сезону шелковые платья, украшенные широкими воланами, годились разве что на сельский праздник. По очереди помогая друг другу, они подкалывали заколками-невидимками светлые кружевные косынки. Дети поменьше сидели смирно. «Вы – жена?..» – женщина, укутанная в цветную шаль, назвала мужа по имени-отчеству. Я кивнула. «Раздевайтесь, раздевайтесь, здесь тепло, за нами скоро придут», – признавая меня своей, они заговорили наперебой. Я вынула из мешочка туфли и, надев, медленно сняла пальто. Мое платье было простым и строгим – ни рюшей, ни кружев. Вырез, открывавший шею, строго очерчивал ключицы. Широкие рукава, собранные на локтях, уходили к запястьям узкими лучами. Я видела, как они замолчали. Молчание длилось так долго, что я успела улыбнуться. Сцену прервал прислужник, явившийся с приглашением.

В нарядной женской толпе я шла тем же коридором, которым меня привел муж. Он обещал, но не пришел за мною, оставил меня. Как же она сказала?.. Спускаясь по лестнице, я почувствовала взгляд, остановившийся на моей щеке. Не решаясь оглянуться, я подняла руку и коснулась, словно сгоняя назойливое насекомое. Женщина в цветной шали, шедшая впереди, обернулась и кивнула мне ободряюще. Да, *матушка*, так она сказала. Я шла, и с каждым шагом его замысел становился все яснее. Он отправил меня вперед, к этим настоящим *матушкам*, чтобы я, соединившись с ними, хотя бы на время праздника стала одной из них. Из-за меня не допущенный к священству... Я вспомнила их дружеские кивки и его реверенду... Оставляя меня с ними, он полагался на меня.

Пройдя по лестнице, мы вошли в храм, от пола до потолка залитый сиянием. Пустая полоса, похожая на просеку, рассекала толпу пополам. По полосе, сопровождаемые прислужниками, как охраной, мы прошли вперед и остановились на сбереженном для нас пятачке. Звон далеких колоколов долетал словно бы из-за стен. Дальние голоса мужского хора пели едва слышно. Из алтаря выбежали прислужники, на бегу раскатывая красную дорожку – от самых царских врат. Они катили ее, покрывая просеку, по которой несколько минут назад прошли наряженные матушки. Украдкой я взглянула на запястье. Было без пяти двенадцать. Высокие окна налились темнотой. Там, за стенами лавры, юные, как прислужники, стояли комсомольцы. Среди них был тот, кому одним ударом, наотмашь, было приказано: «Изыди!» Прислушиваясь к пению далекого крестного хода, не выходящего за оцепление, он уже не смеялся.

Теперь, оказавшись внутри храма, я осторожно огляделась. Мысль о том, что кто-то, кого я не вижу, наблюдает за мной, мешала сосредоточиться. Невидимый взгляд соскользнул со щеки и уперся в мой затылок. Я чувствовала холод, как будто к затылку было что-то приставлено. *Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех! И нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе-е сла-ви-ти!* Стоящие вокруг меня тихо подпевали еще невидимому хору. Слова повторялись и повторялись, как будто не нарастая, но беспокойное движение уже началось. Створки дверей широко распахнулись, и сквозь них, теперь нарастая басовито, вступило торжественное песнопение, подхваченное во все голоса. Неловко вывернув шею, словно в этот миг моя голова жила отдельно от тела, я смотрела назад.

Они входили строгими мужскими парами. Юные прислужники, стоявшие в оцеплении вдоль красной ковровой просеки, напряженными спинами держали народ. Пары расходились в стороны, выстраиваясь двумя рядами. Он шел один, внутри, в двойном кольце оцепления. Тяжелые складки пурпурного пасхального бархата облачали его тело. С каждым его шагом тусклое сияние золотого шитья разгоралось ярче. Лицо, венчавшее праздничный саккос, было собранным и сосредоточенным. Это лицо жило отдельно от праздничного облачения. Глаза, смотревшие строго, излучали спокойствие. Ни тени опасного сияния не было в

его молодых глазах. Тяжелая митра плыла над кольцами оцепления. Он остановился, отвел от себя посох и передал в сторону, не оглядываясь. Иподиакон склонился сбоку. Принимая посох, он коснулся руки владыки почтительным поцелуем. В этом поцелуе не было и следа обыденной мимолетности. Владыка поднял руки, благословляя. Предстоятель и священнослужители возгласили: «*Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ...* – И два слаженных хора, неведомо откуда слетевших на клирос, освобожденно и счастливо разрешились впервые: *...и сушим во гробех живот даровав!*» Повернувшись к храму, владыка Николай возгласил: «Христос воскресе!» – троекратно. Троекратно же на каждый возглас поднималось в ответ: «Воистину воскресе!»

Неотрывно я смотрела в его лицо, и взгляд мой дрожал радостным умилением. Необозримое счастье, золотистое и красноватое, заливало мою душу. Все праздные мысли о видимом и невидимом уходили, как туман, рассеянный под солнцем. То, что виделось в отсветах, становилось земным воплощением невидимого. Ради этого почти что ангельского воплощения *стоило*, разведя в равновесии руки, сделать шаг из утлой лодчонки и встать на крепкую пристань – рядом с мужем. Я повернулась и отыскала глазами: в последнем ряду правого хора он стоял, шевеля губами в лад, и лицо его розовело общей явленной радостью.

Служба была долгой. Степенно и длительно, час от часу, она шла своим чередом. С каждой минутой мне становилось все труднее. Будь я одна, я давно ушла бы домой, привычно пробравшись по стенке, тем более что толпа, до отказа заполнившая храм задолго до начала, теперь постепенно редела. На мой все-таки почти посторонний и нетерпеливый взгляд, все, происходившее в алтаре и на клиросе, теперь казалось однообразным. С трудом преодолевая себя, я думала о том, что больше всего на свете мне хочется сесть: ноги ныли. Украдкой я оглядела матушек, стоявших рядом, и изумилась. Не зная усталости, они стояли смиренно, как в первый час службы.

Перед моими усталыми глазами все двигалось и развивалось незаметно. Не было коротких взглядов, которыми владыка Николай должен был бы руководить и направлять. Казалось, он не давал никаких распоряжений. Все, кто служил рядом с ним, знали свое место и свои роли. В нужный миг поднимались благословляющие свечи, в нужный миг склонялись к его руке почтительные губы. Казалось, владыка смотрел выше нас всех, но мне не могло бы прийти и в голову, что он смотрит мимо предстоявших. Борода, тронутая проседью, делала его старше своих лет. Никто, увидев впервые, не назвал бы его тридцатилетним. Что-то *врожденное* было в этом лице, то, что заставило мой измученный бессонницей мозг вспомнить слово – *иерархия*.

К четырем часам ночи служба начала спадать. Тише пели хоры, медленнее ступало духовенство. Я чувствовала себя обессиленной. Тело отказывалось мне служить. К пяти часам утра все наконец завершилось. Женщина в цветной шали, та самая, которая пыталась ободрить меня, снова обернулась и, найдя меня глазами, подошла вплотную: «Теперь все идут в трапезную», – она вознамерилась доиграть свою роль до конца. Муж подошел неприметно и теперь стоял рядом с нами. «Христос воскресе, матушка!» – они расцеловались троекратно. Все потянулись друг к другу с поцелуями. «Нам тоже надо туда?» – я спросила тихо, кивнув куда-то в сторону. «Да, обязательно, это недолго, иначе владыка обидится». Я видела, ему очень хочется пойти.

Судя по основательно поредевшей толпе – люди стояли полупрозрачным строем, взгляд легко обходил отдельные фигуры, добегая до края, – здесь оставались самые стойкие. Муж сказал: «Все идут в трапезную», значит, все оставшиеся – приглашенные. Я уже приготовилась выйти за мужем, но замерла: Митины глаза встретились с моими, и, словно пойманная с поличным, я едва не вскрикнула. Его лицо было бледным от усталости. Слабый потухающий взгляд бессильно скользнул по мне. В этот миг я не знала, чему удивляться больше: его присутствию среди приглашенных или тому, что он *достоял*. То, что он

готовится пойти в трапезную, неприятно поразило меня. Среди розовых лиц, объединенных общей явленной радостью, он был и оставался чужим. Ненавистник, *сегодня* он не должен стоять и радоваться со всеми. Я встрепенулась сказать мужу, но Митины пальцы потянулись к губам тихим просящим жестом. Навстречу мне его губы шевельнулись беззвучно: я не расслышала слов, словно снова он говорил со мной в постыдном и незабываемом сне. Влажная сонная волна поднялась, отдаваясь короткой болью. Боль, похожая на жалость, опустила мои ресницы, а когда она схлынула, бледное лицо исчезло: Митя отступил за колонну. Судя по всему, муж ничего не заметил. Вслед за ним я вышла из храма. Смолчав, я больше не думала о Мите. Мысль о том, что сейчас я снова увижу владыку Николая, как-то по-особенному тронула меня.

Студенты под присмотром воспитателей разговлялись в большой столовой. Пасхальная трапеза для духовенства была накрыта в особой комнате, близкой к покоям ректора. Соединившись со своими домочадцами, священники двинулись туда. Встречая знакомых, многие то и дело останавливались и христосовались троекратно. Друг друга они величали батюшками. Молодые священники шли, подхватив под ручку своих невзрачных жен. Входя в комнату, все рассаживались, на мой взгляд, произвольно. Место во главе длинного стола оставалось пустым.

Праздничная радость снова разлилась по лицам, но здесь, в трапезной, она была другой. Эта радость, которую про себя я снова назвала обыденной, теперь, после знакомства с матушками, раздражала меня. Между тем батюшки откупоривали бутылки, их жены накладывали закуску, однако к еде никто не приступал. Все сидели над полными тарелками, дожидаясь. Я обратила внимание – детей здесь не было. Может быть, их увезли домой, а может, повели к студентам – в общую трапезную. Шум, похожий на ветер, прошел над столами. По знаку седобородого священника, сидевшего рядом с оставленным местом, все поднялись на молитву. «Ректор со студентами подойдет позже», – муж шепнул мне, когда все сели снова. Я смотрела на свою полную тарелку. После долгой ночной службы, измучившей меня, я не могла и думать о пище.

Веселое движение послышалось за дверями, и, широко распахнув створки, вошел владыка ректор, приветствуя собравшихся. Молодым шагом он прошел к оставленному месту. Небольшая стайка свиты, вошедшей вместе с ним, рассеялась незаметно. Он поднял налитый бокал и голосом, не похожим на тот, которым возглашал в храме, произнес первый тост. Этот голос был веселым. Щеки, раздавшиеся в улыбке, еще более сужали глаза. Владыка выпил вина и отставил бокал. «Пожалуйста, угощайтесь», – широким жестом он просил откусывать. На своем, оставленном для него месте он сидел как глава семьи. По его монашеской жизни они были его домочадцами. Я видела: ему хочется общей радости. Нетерпеливо прикусывая полную нижнюю губу и оглаживая бороду, он обращался то к одному, то к другому. Вопросы, повисавшие в воздухе, были простыми – это были вопросы *по ним*. Он интересовался общими знакомыми, служившими Пасху в других храмах. Тот, к кому он в свой черед обращался, отвечал односложно и скованно. «Кушайте, кушайте, угощайтесь!» – старательно держась роли, он не сдавался. Они сидели, почти не прикасаясь к закуске. Их матушки, опустив глаза, пережидали бессловесно. Все было тихо, словно его веселое появление разрушило *их* радость.

Я видела, как почва, на которой он храбро и крепко стоял в пасхальном храме, здесь, в этой комнате, полной зависимого почтения, уходила у него из-под ног. Я подумала: он похож на меня, когда я стою в лодчонке, которая ходит под ногами. Там, в храме, он смотрел поверх голов, но видел всех и каждого; здесь, переводя взгляд с одного на другого, он не встречал ничьих глаз. В своей особенной и скованной почтительности их глаза уходили от него – избегали, чурались. Я нашла его взгляд и, найдя, усмехнулась. В этом взгляде угадывалось что-то более глубокое, чем желание семейного спокойствия. Оно поднималось, как

на свежих дрожжах. «Будь он тестом, – я вдруг представила и снова усмехнулась, на этот раз от нелепости сравнения, – за него не пришлось бы переживать». Никто не видел моей усмешки, никто не мог видеть, а если бы и увидел, никто из них не посмел бы ее *понять*. Владыка понял. Его глаза, расслабленные желанием общего праздника, снова собрались. В этот миг, неуловимый для остальных, я подумала: мы, я и он, одного поля ягоды...

«Вы ведь сегодня впервые здесь?» – через стол он обратился ко мне вслух, назвав по имени-отчеству. По особенной тишине, мгновенно повисшей над столом, я поняла, что этот прямой вопрос – дело неслыханное. Глаза матушек остановились на мне так, словно ответ, если бы таковой последовал, ожидался от кого-то заведомо бессловесного. «Да, владыко», – я отвечала легко и почтительно, не отводя глаз. Я видела, ему пришлось по душе моя почтительная, но совсем не обыденная легкость. «А раньше, прежде, бывали?..» Матушки не успели перевести дух. Теперь уже сам вопрос, само предположение о том, что я – впервые в этих стенах, прозвучало чудовищно. Те, кто приходил впервые, *сюда* не должны были проникнуть. Ко времени их общей трапезы, обособленной от мира крепкими стенами лавры, все приходящие впервые оставались за дальним кругом комсомольского оцепления. Я, пришедшая извне, расширяла круг, а значит, обращаясь ко мне, владыка выходил за рамки семьи, потому что, придя извне, я пришла из народа. Это означало, что, побыв в соблазнительной роли отца, он – в моем присутствии – снова становился архиереем.

«...бывали на пасхальной службе?..» Все, о чем я подумала, промелькнуло так быстро, что он не успел закончить вопроса. Я вдохнула радостно, собираясь сказать правду, но в этот миг внезапная боль пронзила меня. Под столом, размахнувшись коротко, муж пнул меня ногой. «Замолчи», – он сказал сквозь зубы, не шевельнув губами. Как-то не совладав с собою, я растерялась от неожиданности и взглянула: его губы застыли напряженно, но щека конвульсивно дергалась, как будто я, к которой ректор обратился с вопросом, была вызвана к ним за стол из *того* оцепления. Господи, так оно и было. Прислушиваясь к ноющей ноге, я поняла, что мой правдивый ответ будет означать одно: я действительно не из их семьи, я пришла *оттуда*. У меня не было времени. «Нет, владыко, на пасхальной службе я не впервые». Моя открытая ложь помутила мои глаза.

Где-то далеко, за пеленой моего стыда, в тумане, не знающем солнца, владыка подымался с места, отставляя в сторону прибор. Все потянулись следом – встать. «Сидите, я – к студентам, у них сегодня веселее», – его голос становился отчужденным. Он вышел вон, ни на кого не взглянув. После его ухода веселья так и не наступило. Посидев недолго, для приличия, пары начали подыматься. Выходя из комнаты вслед за мужем, я думала о том, что владыка попросту сбежал.

В предутренний час я не находила сил сосредоточиться. Муж хотел, чтобы в среде его товарищей я стала своей. Случись так, и у него появилась бы новая иллюзия единения: как в случае с реверендой. Теперь я начинала понимать: он желал идти своим петлистым путем, но эта петля захлестывала и меня. Я прикинула еще раз – нет, для этих батюшек и матушек я не могла и не хотела становиться своей. «Неужели, если я откажусь, мне придется уйти к комсомольцам?» – в мозгу медленно плыла усталость. Бессвязные слова, похожие на отрывистые впечатления, мелькали во мне, не сопрягаясь: о духе, которым я про себя называла владыку, о теле – состоявшем из множества мужских и женских тел, – которому я, прислушиваясь к ноющей боли в ноге, вовсе отказывала в духе. Какое-то новое разделение, не учтенное в моей скороспелой формуле, медленно поднималось на поверхность. Мне казалось, я вижу неясные контуры, очерченные новыми словами. Я вспоминала Митин палец, коснувшийся губ, триумфальный выход владыки – его пасхально багровеющее облачение и думала о том, что на этом общем празднике они – тело и дух – вряд ли сумеют примириться.

## Тело и кровь

На пасхальные каникулы муж в составе академической делегации, возглавляемой владыкой Николаем, отправился в Польшу. По замыслу принимающей стороны гости должны были принять участие в совместных консультациях, а в свободное время объездить несколько католических монастырей.

С вечера, предоставленная сама себе, я привычно раскладывала книги и старательно вчитывалась в написанное, но строки бежали мимо. Буквы не желали складываться в слова. Из-за черных знаков, рябивших мелкой зыбью, всплывала то рука, восходящая к губам покорным, просительным жестом, то, словно ее отгоняя, поднимались собранные глаза владыки. Странное слово *иерархия*, приходящее на ум, не давало покоя. К утру, сломленная усталостью, я добиралась до подушки и засыпала без снов.

Пасхальные каникулы подошли к концу, и в продолжение следующих недель я сама не раз заводила речь о владыке. Задернув клетчатые шторы и разлив чай, я хитро, как мне казалось, наводила разговор. Вспоминая его прежние рассказы, я снова расспрашивала о том, чем закончилась история с незаконно отъеденной просфоркой (выяснилось, что тогда маленькому Володе здорово досталось от отца Василия), или просила рассказать подробнее, каково это было, когда его застали в ризнице спящим. Давние неправдоподобные, почти апокрифические истории, которые муж пересказывал мне с новыми подробностями и неизменным умилением, вызывали жгучий интерес, который, время от времени отпуская незначительные замечания, я старалась не обнаружить. Раз за разом я возвращала память мужа к прежним временам, так что однажды, видимо, усомнившись в том, что я в полной мере понимаю смысл давнего прегрешения владыки, *нарушившего* просфорки, муж объяснил мне самую суть: частицы, вынутые из просфорок, – каждая за свое имя – опускают в Чашу, из которой причащают, таким образом объединяя их с Телом и Кровью Христовой. «Женщины не видят главного. Частицы вынимают в алтаре, куда вашей сестре ход закрыт», – он произнес с удовольствием. «Ну что ж, – скрывая плеснувшее через край раздражение, я отшутилась, – значит, *вашей сестре* придется догадываться по косвенным признакам». Муж не поддержал шутки и вернулся к детским историям.

«Да не было ничего особенного, они уже привыкли – Володя вообще прислуживал неохотно, то одно, то другое. С дисциплиной у него всегда были нелады», – муж отвечал на мои вопросы, кажется, уже удивляясь их настойчивости. Тут меня дернул черт, и я спросила: *почему он принял постриг?* В моем вопросе крылось двойное дно: я хотела знать, почему, отворачиваясь от мира, он не сумел отвернуться окончательно? Кто как не он, идущий вперед по красной ковровой просеке, он – средоточие пасхальных сияющих глаз, мог и должен был отвернуться от видимого – несовершенного и грешного – мира, но этот мир не отпускал его – притягивал семейным академическим кругом. Я не сказала вслух, но про себя решила, что его монашество не совсем невидимое – из *видимого* он оставил себе карьеру и академическую семью. В каком-то смысле (об этом я с тайной надеждой сказала мужу) отец Петр, обремененный настоящей семьей, ведет более монашескую жизнь.

Муж решительно отмел сравнение с Петром, но своего ответа не дал. Подумав, он предположил, что кроме всего прочего монашество было важным условием карьеры. Теперь в его необдуманной интерпретации владыка ректор выходил почти заурядным честолюбцем. «Карьеру можно сделать и в другом месте...» – я вспомнила институтского ректора, начавшего в обкоме. «Его отец из репрессированных», – муж произнес неохотно, словно это признание могло умалить в моих глазах чистоту сыновнего выбора. «Отец умер?» – я спросила не раздумывая, потому что теперь спрашивала о главном. Он кивнул. «Значит, каждый раз во время Великой ектении, когда молятся о властях?..» – «Это – не наше дело. Наше

царствие не от мира сего. Церковь не выступает против власти Кесаря», – словно забыв свои же слова о том, что церковь *ничего не отпустила*, муж отказался обсуждать. «Или боится выступить?..» – я парировала запальчиво и глупо, но он уже вышел из комнаты. Я представила себе руку владыки, поднимающуюся ко лбу безгрешным, ангельским жестом – *за всех*. С этим я не могла смириться. Не смирившись, я замыслила поймать его за руку.

Случай представился скоро. По долгу службы муж занимался расшифровкой кассет с речами владыки – одновременно он переводил их на английский. Позже из этих переводов составлялись документы для Всемирного совета церквей. Обычно муж работал с кассетами по ночам: ставил на стол портативную пишущую машинку, включал диктофон, надевал наушники. Пленка крутилась беззвучно. По утрам на столе лежали листы готового английского текста. Иногда я заглядывала из любопытства: перевод речей казался мне замечательным. Я не видела оригинала и могла судить лишь по переводу, однако и в переводе, на мой взгляд, чистом и безупречном, что-то удивляло меня. В нем уживались, как-то противореча друг другу, легко узнаваемые библейские фразы и жесткие обороты речи, которые про себя я называла политическими. Просмотрев, я откладывала в сторону. Однажды диктофон дал сбой: сам по себе он переключился с “off” на “on”.

Мы сидели в гостиной: я смотрела телевизор, муж печатал. Ясный и громкий голос неожиданно прорвался наружу – несвязный обрывок речи, проговоренный вслух. Этот обрывок был коротким, в несколько слов. По отрывочным словам – очень быстро муж переключил назад – я не сумела понять целого, но что-то более важное, более полное, чем смысл, приковало мой слух. Это была странная, невыразимая интонация – какой-то плачущий отзвук, не имеющий отношения к безупречно переведенным листам. На следующий день муж снова уехал в командировку. В этот раз – без владыки. Группу, состоявшую из преподавателей и священников, пригласили в Израиль на какие-то торжества. Довольно туманно муж прокомментировал: «Едем к истокам».

В его отсутствие я поставила кассету на магнитофон. Речь владыки была черновой. Мне показалось, он надиктовывал на ходу, в пустые, свободные минуты: плавное течение прерывалось то коротким распоряжением в сторону, то паузой, заполненной шуршанием бумаг. Кажется, это называется эффектом присутствия, но как бы то ни было, я чувствовала себя так, будто сама сижу в его кабинете. Присутствие, которого я достигла, дарило меня особенным тайным удовольствием. Закрыв глаза и представляя собранное лицо с широковатыми скулами, я слушала живую речь владыки, и эта речь больше не казалась мне безупречной. Глаза, глядевшие на переведенные листы, оказались несовершенным инструментом. Противоречие, крившееся в его языке, становилось все более явным.

Уши не обманули меня: под живым и сильным голосом, глубоко, на самом его дне, таилась странная, неизбывная интонация – та, которую я по короткому несвязному отрывку приняла за плачущую. Под живым голосом, укрытые ясными, но противоречащими друг другу словами – библейскими и современными, – стояли бесстыжие стены страха. Я слушала и снова перематывала назад: мне нужно было время, чтобы свыкнуться. Слова бежали, исчезали и снова появлялись. Господи, я думала о том, что радостное оживление мужа, с которым он встречал свою новую деятельность, похоже на недомыслие. Теперь я видела по-другому: дух, измученный видом страшного, похожего на призрак, сидит за общим столом, надеясь хоть на какое-то время укрыться за *их* обыденным весельем. Это страшное он скрывал от них, держал их в неведении. Сам-то он *видел* воочию и не отбрасывал видимое, не заслонялся чужим милосердным сиянием. Перед призраком, не закрывая сосредоточенных глаз, он вставал окруженный двумя рядами оцепления. Эта странная сцена, которую я представила, показалась мне похожей на другую – из «Гамлета»: принц, окруженный стражниками, выходит из круга, чтобы встретиться с призраком отца. Встретиться, чтобы отомстить. Литературное сравнение укрепило меня. Снова я чувствовала твердую почву, на которой

крепко и надежно стояли мои ноги. Пленка крутилась и крутилась. Я больше не останавливала ее.

Не кабинет, в котором я представляла себя сидящей, – прежняя комната, убранная к пасхальной трапезе, встала предо мною. Сидя за пасхальным столом, на своем прежнем месте, я переживала все заново, словно случившееся было записано на пленку, которую можно было перемотать. Священники, похожие на придворных, сидели за столами, однако праздничная радость, разлившаяся по их лицам, больше не обманывала меня. Их глаза были пусты. Шум, похожий на ветер, гулял за стенами комнаты. Они сидели перед полными тарелками, на которых, беззаконно надкушенные со многих сторон, лежали чужие маленькие просфорки. Теперь я поняла: эти просфорки не были надкушенными. Они сами, своими неразборчивыми руками, вынули из них частицы хлеба – *за всех*, без разбора. Вынули и опустили в Чашу, где эти частицы убитых и убийц соединились в Телу и Крови Христовой. Он помнил об этом каждый день, а значит – я догадалась, предвосхищая, – должен был попытаться разъединить. В память об отце, по обязанности своего рождения. Нет, это невозможно. Владыка не был *принцем*. Всего, чего он достиг, он достиг не по рождению – просто сделал карьеру.

Странная мысль шевельнулась в моей затуманенной голове. Я попыталась представить себе, что бы сделала я, если бы не ему, а мне примыслилось – разъединить. Единственный выход, чтобы не допустить соединения частиц, – съесть их самому, сквозь сонную пелену я вспомнила слово: *потребить*. Однажды муж рассказывал мне об этом, но тогда я не придавала значения. Священники всегда доедают то, что остается в Чаше, – Тело и Кровь: выливать нельзя, они потребляют, доедая и допивая в алтаре. Так они делают всегда, но *после*, когда ничего уже нельзя поделаться, а он – он должен делать это заранее, так, как сделал однажды – в детстве. Надкусить просфорки – своими собственными зубами вынуть частицы *за убитых* – вынуть и проглотить. Вот он, этот Митин разрыв, пропасть, шизофрения: по долгу карьеры он обязан их вынуть, по долгу рождения – проглотить. Проглоченные, одни должны лежать в нем – в его теле и крови. Но если так – какой-то нелепый сонный вопрос поднимался во мне, – сколько частиц нужно отъесть, чтобы тело, смешавшись с *их* частицами, изменилось целиком, превратилось в *их* тело?

Ответ я не успела услышать. Створки двери распахнулись беззвучно. Он вошел, приветствуя собравшихся, и за ним, стайкой почтительной свиты, в комнату вступили комсомольцы, среди которых я в тот же миг узнала своего – безобразно изгнанного. Ни на шаг не отставая, они прошли за владыкой и сели за его стол. Их было много, больше, чем мест за столом, а поэтому некоторые встали за спинами сидящих, как на общей фотографии. С моего места мне было видно плохо, наверное, это мне показалось, но я увидела бледное лицо, тревожный взгляд и руку, плывущую просительным жестом – к губам. «Митя...» – имя шевельнулось во мне болью, но чужие спины, вставшие между нами, закрыли его лицо. Владыка выпил вина и отставил бокал. «Кушайте, кушайте, угощайтесь», – ровным голосом он привечал комсомольцев. Пустоглазые сидели над просфорками, не откусывая надкушенного. Всмотриваясь острыми глазами, я силилась понять, видят ли *они* вошедших комсомольцев. Я-то – видела.

«Вы ведь сегодня впервые здесь?» – не ко мне, к ним, владыка обращался ко вновь пришедшим. Теперь я поняла – *придворные* не видят. Тишина, повисшая над столом, не нарушалась ничьим ответом. Бессловесные комсомольцы кивали головами. «А раньше, прежде, вы бывали на пасхальной службе?» – владыка продолжал спрашивать. Новыми, собранными, разглядевшими его тайну глазами я видела, как матушки, от каждой из которых – приняв постриг – он отказался, испуганно смотрят на меня. Их мужья сидели неподвижно, как обвисшие тяжелые облачения, среди которых, испугавшись раз и навсегда, он просыпается снова и снова... Так же, как однажды, наяву, владыка поднялся из-за стола и, оглядев засто-

лье, направился к выходу. Широкие рукава рясы взметнулись черными крыльями. Сделав несколько шагов, но не коснувшись двери, он обернулся ко мне. У самых дверей он застыл, не приближаясь, но лицо, посрамляющее земные законы, становилось четче и яснее. Сжатые, почти прикушенные губы плыли перед моими глазами, и, медленно поднявшись с места, я сделала шаг... Короткая боль пронзила ногу, и в ту же секунду я очнулась.

Я сидела в кресле, неловко поджав под себя затекшую ступню. Пленка остановилась. Совершенно ясно я вспомнила увиденное, и жгучее чувство вины опалило мое сердце. Словно поймав себя за руку, я поняла, что замыслила: *ради себя* я хотела вернуть его миру – уличить в грехе. Только теперь я осознала, *что* натворила. Раз за разом перематывая пленку, я проникла в его тайну, и в моих глазах, сумевших разглядеть невидимое, он, глотавший частицы, стал *воплощением* греха. Его грех входил в трапезную, как входили потомки убийц, чьими частицами он был исполнен. Какой-то долей своего изменившегося тела он стал частью их множества, а значит, спасая их, спасал и себя. «А если?.. Господи...» – только теперь я поняла окончательно: если их спасение не удастся – он сам становится обреченным.

«Какие глупости! – решительно возвращаясь к яви, я щелкнула клавишей и пихнула кассету в ящик стола. – Когда он выбирал – уже не то время. Отец ни при чем. Если бы он захотел карьеры, он сделал бы ее *где угодно* – и здесь и там, надо же, напридумала ерунды...» Наяву, глядя на мир прежними глазами, я вернулась к детской истории с просфорками, словно надеялась, начав от нее, как от печки, зайти с другого конца. Я думала об изъеденных просфорах, но видела мальчика, заснувшего в ризнице, и вспоминала обвисшие облачения, похожие на пустоглазых гостей. Он, посвятивший себя церкви, но видевший собственные сны, был одним из них, но в то же время стоял особняком.

Я смотрела на пустые облачения и думала о том, что мир, построенный церковью, целен и совершенен, но именно в этой целостности и совершенстве он эфемерен. Его строители не видят главного разделения – на убитых и убийц, не слышат его под сердцем, а значит, этот народ им никогда не спасти. В их мире, не видящем жизни, можно полагаться только на смерть, умеющую соединять несоединимое. Я вспомнила шею мужа, изгоняющего комсомольца, храмовых старух, берущих на себя роль всепрощающих мертвых... «Если так, – я начала медленно, словно, проведя расследование, готовилась вынести вердикт, – если они не видят живого мира, значит, они и сами – мертвые, и все их усилия должны быть направлены на то, чтобы *умертвить*». Как в сказке: мертвые, они приходят к живым из темного невидимого царства.

И все-таки именно к нему пришел мой муж: в своих надеждах он полагался на владыку Николая. Теперь, в свой черед, я думала о владыке как о замковом камне, способном держать конструкцию. Одной частью своего *проглотившего* тела он был с убийцами, другой – с убитыми. А значит, соединяя в себе и тех и других, он мог и должен был стать их общим первосвященником.

## Быстрый Ангел

На этот раз муж не привез книг. Его подарок был особенным. Раскрыв чемодан, он высыпал горсть деревянных крестиков – от Гроба Господня. Эти крестики им вручили организаторы, проводящая: простые, цельного дерева, безо всяких украшений. Для меня одной их было слишком много. Я подумала, надо раздать. Вечером, когда мы сели за чай, муж приступил к рассказу: «Ты бы удивилась. Совершенно не похоже на Евангелие: ни Крестный путь, ни все остальное – Голгофа, Вифлеем... Мы-то представляем себе так, как было написано: думаем, все осталось, как было при Нем, – ясли, дорога, гора. На самом деле все давным-давно застроено – над каждым из этих мест возвели церкви, и не угадаешь...» «Значит, если бы вам не сказали, что вот это, например, Голгофа...» – мне как-то не верилось. «Нет, конечно, гора осталась, не срывать же гору, но там не то лысое место, где – три креста, и в Вифлееме – не хлев, и пещера Лазаря – не пещера». Он принялся подробно описывать богатое убранство тамошних храмов, закрывших святые места. Конечно, я слушала его с интересом, но тайное разочарование проникало в меня. Застроив церквями, они навсегда скрыли евангельское прошлое, так что теперь – даже попади я в Израиль – мне не доведется увидеть то, что первые христиане видели воочию. Я же желала смотреть их глазами и, может быть, поэтому, внимательно слушая, не сочла его слова за рассказ очевидца: побывав на застроенных местах, он ровно ничего не разглядел. «Нет, я уж лучше по описанию... По книгам». Закончив о путевых впечатлениях, муж ни с того ни с сего заговорил о своем попутчике, с которым каждый раз их селили в один номер. Прежде такого не случалось. Сопровождая владыку, муж всегда жил один – в отдельном. Рассказ о попутчике я слушала невнимательно, норовя свернуть обратно – к святым местам. Эта тема была интересней. Муж отвечал, но снова возвращался к своему, так что в конце концов в моей голове все начало мешаться: евангельские описания, искаженные позднейшей застройкой, и житейские обстоятельства его нового друга.

В том, что за время поездки они успели подружиться, сомнений не было. С воодушевлением, с каким он прежде рассказывал о владыке, муж говорил об отце Глебе. Говорил, что у них много общего: университетское образование (правда, тот – естественник, закончил биологический), семейное положение (тоже женат) и... Я подумала, он имеет в виду сиротство. До этого муж успел упомянуть, что отец Глеба тоже умер рано, когда сыну было двенадцать лет. Однако, замывшись, он закончил: общая судьба. Торжественность этого заявления покорила меня. Муж заметил и объяснил, что отец Глеб довольно долго шел к церковной службе, сначала работал по специальности – преподавал химию в Крестах, хотел стать писателем (писал *в стол*), одно время увлекался восточными учениями, кажется, йогой, потом пришел к православию, но, не имея церковных знакомств, подался в дворники – в Академию. В общем, человек необыкновенный.

Дворником он работал довольно долго, смиренно подметал академический двор и ходил в храм, пока не обратил на себя внимание владыки: «В этом смысле мы оба – крестники Николая». Через несколько лет, поступив в Академию и закончив, он принял священнический сан. «Ну, и что же общего?» – замысловатая жизнь Глеба, коротко очерченная мужем, на мой взгляд, никак не совпадала с его собственной – за исключением, может быть, университета, но мало ли народу его заканчивало. «Что тебе непонятно?» – горячее и сбивчивее, чем того заслуживал мой вопрос, муж заговорил о петливой дороге, о неожиданном и непреодолимом желании уйти в церковь, о том, что в конце концов отец Глеб после долгих мытарств стал наконец священником. Слова о неожиданном и непреодолимом желании смущали меня. «Конечно, я не знаю, как там у твоего Глеба, но что касается тебя...» – «Что – касается?» – он смотрел на меня так, как будто я, единственный свидетель, становилась лиш-

ним. «Я хочу сказать, – лишний свидетель, живший во мне, упорствовал, – ты-то не работал дворником. Не пригласи тебя Николай, ты бы так и... играл в “Зарницу”...» Я не успела закончить. Его щека дернулась, словно, свидетельствуя, я становилась комсомольцем, стоявшим в оцеплении. Ломая губы, он заговорил о том, что дело не в приглашении, не кто кого позвал, а в Божьей воле, которая вела их обоих – и его, и Глеба. Я не возражала, и, справившись с гневом, он – теперь уже миролюбиво – принялся рассуждать о том, что им обоим выпал трудный и долгий путь, который отец Глеб в какой-то степени уже прошел. «Вообще, мы многое повидали, знаем не понаслышке, и это – очень важно для понимания...» Видимо, он имел в виду, что общая судьба позволяет им понимать друг друга с полуслова, говорить – как он позже выразился – на одном языке, на котором в церкви заговоришь не с каждым.

В его словах было много обыденной справедливости. Я и сама легко представляла себе, каково входить в новый мир, где каждый считает тебя чужаком. С владыкой, с которым муж был связан детскими, теперь уже шаткими иллюзорными воспоминаниями, он не мог говорить на равных. Воспоминаний хватило лишь на то, чтобы пригласить на работу и доверять. Уже сожалея о своем неуместном и жестоком свидетельстве, я думала о том, что на первых порах муж и должен был цепляться за общие воспоминания, искать в них опору. Видимо, это время кончилось, потому что, восхищенно говоря о новом друге, муж поворачивал дело так, словно владыка, отказавшийся от университетской и семейной жизни, так и остался мальчиком, с которым нельзя говорить *о взрослом*.

Прошло довольно много времени, прежде чем я познакомилась с отцом Глебом. Я помню тот вечер. Я задержалась в библиотеке и пришла домой поздно. Открывая дверь, я услышала громкий смех, напомнивший мне смех университетских друзей. Такого смеха я уже давно не слышала. В последние годы друзья приходили всё реже. Звонили, собираясь зайти, но муж настойчиво ссылался то на срочную работу, то на усталость. Скучая по их компании – чего только я ни узнала, смиренно прислушиваясь к застольным беседам, – я не раз предлагала мужу *всех собрать*, но он уклонялся. Теперь, вертя ключом в скважине, я радостно торопилась, предвкушая долгий и веселый вечер. Почему-то я была уверена, что это – не Митя.

Муж вышел мне навстречу. Улыбнулся радостно и свободно. Его улыбка была светлой, словно озабоченная отчужденностью, к которой я за последний год привыкла, сошла с его души. Нетерпеливо я заглянула за его плечо, угадывая – кто. Сидевшего за нашим столом я никогда прежде не видела. Теперь он торопливо поднимался – знакомиться. Быстро и стеснительно одергивая пиджак, он смотрел на меня какими-то изумленными глазами, словно увидел то, чего никак не ожидал увидеть. Это изумление было таким доверчивым, что я, шагнув навстречу и протянув руку, не удержалась: «Что это вы так смотрите, или не ожидали?» Наверное, меня сбил с толку их общий смех: на такие шуточки университетские легко находили ответы. Этот же растерялся. Изумленные глаза заморгали, руки кинулись вверх по отворотам пиджака. Какое-то смятение проступило в его лице, словно мой глупый вопрос поймал его за недозволенным. «Да, я не ожидал, совсем не ожидал, что вы – такая... другая...» – он забормотал растерянно.

«Не хватало еще идиота», – я подумала зло и несправедливо, в сердцах вычеркивая гостя из блистательной когорты университетских. В следующий миг я, мгновенно устыдившись, надела личину хозяйки и, недоумевая, над чем они могли *так* смеяться, предложила продолжить чаепитие. За столом отец Глеб постепенно приходил в себя. Коротко взглядывая на меня время от времени, он мгновенно отводил глаза, однако умудрялся весьма находчиво поддерживать разговор, в котором, по своей привычке (в присутствии университетских друзей мужа я все больше молчала и слушала), я не принимала участия. Разговор шел о владыке. Однако тон разговора разительно отличался от того, в каком муж говорил о Николае со мной. С отцом Глебом он говорил весело и свободно. Они обсуждали какую-то семинарскую

историю, в которой владыка ректор каким-то образом принял участие – что-то о непослушании и дисциплине. По их веселым репликам я поняла, что кого-то из семинаристов, явившихся после двенадцати, вахтер не пустил в общежитие. Скандал выплыл наружу, и ректор вынужден был вмешаться. Вопрос о дисциплине обсуждался широко. Сдерживая смех, муж весьма артистично рассказывал, как древний и уважаемый профессор гомилетики, оказавшись с ним в трапезной за одним столом, горестно посетовал: «В какой ресторан ни приди, всё наши воспитанники сидят с блудницами и *курют!*» Потешно копируя интонацию, муж восхищался высоким профессорским слогом. «И ведь врет, собака, какие такие рестораны, будто он сам ходит – весь скрюченный, с его-то радикулитом, но врет-то сущую правду». – «Да уж – чуть отбой, наши – шашь в гостиницу и сидят... Там их уже знают. Ну а насчет блудниц, это он, конечно...» Теперь, ни к селу ни к городу вспомнив Лильку, я засмеялась. Образ скромного семинариста, проводящего время с гостиничными блудницами, позабавил меня. Забавным выглядел и профессор, врущий правду. «А разве там у вас запирают?» – «Разве запрешь от недозволенного!» – отец Глеб откликнулся легко. Сидя напротив, я смотрела веселыми глазами, забыв, что еще какой-нибудь час назад сочла его идиотом. Веселье переполняло меня. Наверное, я очень соскучилась по гостям, а потому пользовалась случаем посмеяться. Время летело быстро. Когда я взглянула на часы, уже перевалило за полночь. Поймав мой взгляд, отец Глеб вскинулся: «Ух ты, засиделся, хорошо с вами, но надо идти! А то домой не пустят...» По привычке я начала отговаривать: возьмете машину, а хотите, можете остаться у нас – место есть. В таких случаях университетские друзья сидели еще с полчаса и уходили. Отец Глеб сказал, что останется. Это был первый раз, когда он остался.

Удивившись такой готовности, я предложила кофе. «Знаете что, ребята, – муж поднялся, – мне завтра к восьми, и голова не своя – болит и болит. Вы сидите, а я пойду ложиться», – он посмотрел на отца Глеба пристально.

Мы остались одни. Я отвернулась к плите – варить кофе. Обычно, когда кто-то из университетских сидел у нас в гостях, я, отвернувшись, прислушивалась к разговору, не затихавшему ни на минуту. Так и привыкла слушать вполоборота. На этот раз прислушиваться было не к чему – за моей спиной стояла тишина. Дождавшись, пока курчавая шапка кофе поднимется над кофейником, я подхватила и обернулась. Он сидел, вперив глаза в стол. Руки лежали на краю – недвижно. Подождав минуту-другую, я вежливо прервала молчание. Я не знала, о чем начать, и уже жалела об опрометчивом приглашении. Зацепившись за конец веселого разговора – о семинаристах, профессоре и блудницах, я заговорила о Лильке – о ее дурацкой истории с негром. Наверное, мне хотелось сказать, что такие истории случаются в каждом общежитии: ректор есть ректор – во все обязан вникать. Отец Глеб слушал внимательно.

Входя во вкус, я подробно рассказывала о собрании, о предваряющем выступлении секретаря, о явлении Лаврикова. Все еще весело я рассказала о Лилькиной юбке, о том, как она подурнела, став похожей на свою деревенскую мамашу, о виноватой улыбке, сквозь которую сочился Лилькин покаянный голос. Не знаю, как это получилось, но под его внимательным взглядом я, незаметно для себя войдя в роль, заговорила Лилькиными словами, словно теперь уже не Лилька, а я стояла перед ними, кивая в такт покаянным словам. Я остановилась. Сидящий напротив меня смотрел ясными глазами: «И что же, заслужила она прощение?» Под его ясным взглядом я принялась рассказывать о том, как говорила перед ними – сияющими словами из бахромчатых книг. Он слушал собранно и внимательно, как будто слова, исходившие из моих уст, были знакомыми и близкими – известными. «Вижу, вы умеете и любите... читать?» – перед последним словом он помедлил. «Да, очень», – я ответила быстро и твердо. Его взгляд сверкнул. Я говорила, приводя все новые свидетельства, но не успела упомянуть о голосовании, когда он, коротко усмехнувшись, остановил меня: «Значит, именно *начитавшись*, вы сумели спасти ее?» Он выделил голосом то, что про себя я

выделяла сама. Я замолчала, обдумывая. Что-то в его голосе насторожило меня. Заданный вопрос казался легким и очевидным: выслушав все перипетии, поинтересоваться результатом. Однако его голос выделил не сам результат – Лилькино счастливое спасение. Выходило так, будто он, слушавший внимательно, был заранее уверен в исходе. То, что его интересовало, лежало в стороне от очевидности. Как будто он, слушавший мою жалкую покаянную речь, понял, что здесь, пред его глазами, я говорила о себе, за себя, о своем страхе – о своих никуда не исчезнувших грехах. Теперь, словно грехи были дрожжами, на которых поднимаются силы, он спрашивал о том, есть ли силы у меня пойти дальше, чтобы спасти себя и их всех – отринутых и бессловесных.

Он застал меня врасплох, поймал на главном, и его лицо разительно изменилось. В нем не оставалось и тени доверчивого изумления. Лицо закрылось. Я подумала, неужели своим честным ответом я вторглась туда, куда он не желал пускать чужих? В эту область посторонним хода не было. Сюда заходили те, кто, положившись на крещение, раз и навсегда забывали обо *всех* прошлых грехах. Жесткое стояло в его глазах, словно сейчас, минуту назад, он, быстро подняв нож, нанес мне удар – пригвоздил.

Мне не хотелось продолжать. Сохраняя вежливость хозяйки, я спросила о недавнем путешествии, надеясь снова услышать рассказ о святых местах, закрытых церквами. Услышать и забыть. Отец Глеб задумался. Скосив глаза, он внимательно смотрел за окно: за стеклом рваными пунктирными линиями догорали последние окна. Его глаза вернулись. Они были такими ясными, что я невольно усомнилась в том, верно ли поняла его короткое и жесткое отчуждение. «Самое удивительное – пустыня. Я привык думать, что там – пески, куда ни глянь, *он* так написал: пески и редкие кусты, похожие *на всё*». – «Похожие на... всё?» Господи, я не могла взять в толк, о чем это. «Да, – он улыбнулся радостно и доверчиво: – *По сути дела куст похож на всё*. А разве?..» Ясность и жесткость, соединявшаяся в его взгляде, изумляли меня. Я поднялась и отвернулась к плите. Его странные слова удивляли.

Он смотрел ясными глазами, но говорил бессвязно, будто пьяный. «А разве вы *его* не знаете?» Вопрос, обращенный ко мне, толкнулся в спину. Я не успела ни ответить, ни обернуться. Голос, не похожий на его голос, начал странные слова: *Идем, Исак, чего ж ты встал, идем, сейчас иду, ответ среди веток мокрых ныряет под ночным густым дождем, как быстрый плот, туда, где гаснет окрик...* Я слушала. Стрела, оперенная этими словами, пронзила мою спину между лопаток. Она дрожала, не позволяя продохнуть. Голос шел и шел дальше, не щадя меня, как будто не желая замечать боли, прораставшей во мне из этих слов. Справившись, я обернулась: «Что это?» – мне хотелось сжать пальцы и приложить к спине, к больному месту, так, как каких-нибудь полчаса назад я прикладывала к груди. За последний час он сумел ударить меня дважды. Эти удары были разными: один – жесткий, другой – ясный; я не знала, как объяснить по-другому, разные, они рождали одинаковую боль.

Он остановился и, глядя на меня внимательно, назвал имя и фамилию. Это имя мне ни о чем не говорило. «Но это, – я возвращалась к больным словам, – я уже думала, мне не сказать, это противоречие... Библейский и современный – два языка, которые надо...» – я забормотала, ни на что не надеясь. «Соединить», – он закончил за меня, и я кивнула. Я думала о том, что уши снова не обманули меня. Из-под живого, не похожего ни на чей голос, вырывалась странная интонация: человек, написавший больные слова, видел воочию и не отбрасывал видимое. Он зажигал свечу с другого конца – свечу, уже горевшую огнем владыки Николая. Я не смогла бы объяснить иначе, я и сейчас вряд ли могу объяснить, но под этим языком прорастала какая-то другая иерархия, встававшая рядом с иерархией владыки. С этой – другой иерархией, иерархией языка – он и сумел сладить: подобно тому, как владыка ладил со своей. В его слаженных словах мой разорванный мир обретал новую надежду. Когда-нибудь он, разорванный надвое, мог стать похожим не на дерево, разбитое молнией

до корней, а на куст, из которого, вслед за этими словами, проросли бы мои пальцы и сложились вместе – прижать. «Одного поля ягоды», – наверное, я пробормотала вслух. Этот человек, имя которого я только что услышала, знал слова, чтобы в одном кусте соединять разорванное: два языка – библейский и современный.

«Нас привезли на самый край пустыни – привезли и поставили, – начав со стихов, отец Глеб продолжил неожиданно, как сначала. В его глазах проступала решимость, похожая на мою. – И вот я стою на краю пустыни и вижу камни – камни и камни, хребты камней – до горизонта. И я думаю, нет, так не должно быть, там, в *той* истории – семя, и звезды, и песок на берегу, это, написанное, важнее того, что есть на самом деле, что видишь своими глазами. Но главное – он описал это так, что нет нужды: правда или неправда». Отец Глеб говорил, не останавливаясь, мне было трудно понять дословно, но я понимала главное: странные слова отца Глеба походили на мои – сонные, в которых правда и неправда не содержались изначально – они творились. Простыми и ясными словами он говорил о том, что правда, явленная в стихах, куда как выше правды обыденной жизни, различимой простыми глазами. Он говорил о том, что когда-то для него самого именно из таких, особенных, слов проросла правда слов церковных, о которой прежде, в своей предшествующей жизни, он не имел понятия. «Знаю, – я откликнулась радостно, – мне тоже, когда в первый раз – молитвы, мне тоже казалось, что они *так* прорастают...» Глядя в его сияющие глаза, я думала: моя жизнь движется по кругу, словно сейчас я снова подхожу ко дню своего крещения, а значит, если теперь, на новом витке, постараюсь, я сумею добиться правильных снов. А значит, избежать позорных: преодолеть, отринуть, забыть.

Отец Глеб молчал, как будто прислушиваясь. Его взгляд собирался, становился внимательным. Под этим взглядом я заговорила все быстрее и быстрее, словно опять входила в Лилькину покаянную роль. Я говорила сбивчиво: о гробе, затянутом пестрым ситцем, который на кладбище стал красноватым, о девушке Миле – со ртом, обезображенным белым шрамом, которую все называют красавицей, о мальчишке-инвалиде, скрывающем свою душу от не желающего быть зрячим отца. Сняв руку с больной груди, я заговорила о двух народах, несоединимых в одном. «Если стоять *на одной житейской правде*, смотреть ей в глаза, в этой стране убийц и убитых... В этой стране все застроено и закрыто, а значит, тоже разрушено... В этой разорванной стране у меня нет сил любить...» Корни моего дерева, расщепленного молнией, не доставали до воды. В тоске я говорила о том, что ищу другое лицо, похожее на мое, но не могу найти. В нем должно соединиться все так, как соединяется в этих больных словах – о кусте. Однажды мне приснилось чужое и близкое, но это такой сон, который пугает меня, потому что если *это* сбудется, я погибну.

Я сказала больше, чем отцу Василию, но меньше, чем отцу Валериану – если б довелось. Он выслушал. Я ждала. Он был священником и теперь обязан был заговорить со мною профессионально – простыми и правильными словами: о милости Божьей, о ежедневной молитве, о том, что только Бог соединяет все. Снова, как в первый день крещения, он должен был заговорить так, как отец Петр: засиять глазами. Его глаза умели быть ясными. Если бы он посмел – клянусь, я подняла бы его с места и выгнала вон.

«Все дело в вере, – он сказал, отстраняя и правду, и неправду. – Во всех наших поисках нам дается по вере, но *нашими* глазами смотреть бесполезно», – он заговорил жестко, словно я действительно стала Лилькой, а он, знающий *всякое* сияние, выходил из рядов и вставал рядом со мной – на защиту. Он мог защитить, потому что знал и любил написанное, то, о чем говорили бахромчатые книги. Забирая глубже и дальше мирного сияния отца Петра, он говорил: да, мир действительно разорван, но не должно отбрасывать ни один из обрывков. Есть клей, чтобы соединить разорванное, он прочен и вечен, как будто сварен из отборных костей. Все разорванное соединяется жертвой. Ее приносят, когда хотят соединить. Он говорил о Боге, но о другом, непримиримом и жестком, требующем в жертву лучшее, что есть в

любом из нас. Это лучшее мы должны осознать в себе сами и, осознав, принести и сложить к Его ногам. Меньшего Господь не приемлет. Я подумала, отцу Петру этот Бог неведом. Господи, теперь я поняла: своим первым ударом, пришедшимся в мою грудь, он примеривался ко мне, как к жертве. Присматривался к тому, что во мне есть.

«Но я, я еще не знаю, что есть во мне... Я не знаю, что могу *предложить...*» Его взгляд смягчился: «Бог милостив. Ему одному известно, кого или что должно принести в жертву. *Ангел быстро поднял*, вы слышите, *как* звучит это слово? Все решается быстро, в один миг, который не пропустишь. *На горе Язве усмотрится*». Я не поняла слов, но увидела, как дрожат его руки. Он говорил вдохновенно, и в этом мареве вдохновения и правда, и неправда становились бестелесными. Вера же обретала плотную и необоримую силу, и в этот миг, который я не пропустила, я поверила ему.

## Сиамские близнецы

С этого началось счастливое и радостное время, которому суждено было длиться ровно два года. Время, которое я могла бы назвать невинным. Мы провели его втроем. Новый окраинный дом, поваленный на землю, обрел третьего жильца. Называя это время невинным, я прежде всего имею в виду наши супружеские отношения: как-то незаметно они стали бесплотными. Впрочем, и раньше, хотя тогда я об этом еще не догадывалась, они, во всяком случае с моей стороны, не были, если можно так выразиться, полноценно плотскими. Теперь я и вовсе уклонялась, но с мужем мы не разговаривали об этом. Все установилось само собой, и наше умолчание, первое время казавшееся мне напряженным, постепенно приобрело черты деликатной сдержанности. Во всем остальном наша семейная жизнь протекала по-прежнему, и стоило чьей-нибудь шутке вильнуть в ту сторону (впрочем, даже в шутках ни один из нас двоих той стороной не злоупотреблял; если и случалось злоупотребление, то со стороны отца Глеба, падкого на такого рода юмор), мы не прятали испуганных глаз, и в нашем сдержанном смехе царила гармония, как в истинно счастливых семьях. Теперь, по прошествии лет, я рискнула бы сказать определеннее: новые отношения обладали изрядной и прочной силой. Их корни питали особые источники, бывшие вдали от бурных струй ненависти и любви. Эта новая сила уводила с земли, приобщая к мысли о светлых мирах, в которых нет и не может быть убывания. В тех мирах, явленных на евангельских страницах, любовь была безмерной потому, что для нее не было мерил: пребывая в постоянстве, она не возрастала и не убывала. Устав от тоски убывания, я отдыхала в радости.

Конечно, говоря о том, что отец Глеб стал нашим жильцом, я изрядно преувеличиваю, поскольку по-настоящему никто никуда не переезжал. Его семейная жизнь шла своим чередом, однако все чаще отец Глеб приезжал к нам после службы и, засиживаясь до глубокой ночи, оставался спать в гостиной. Думаю, что он сам (тогда мне казалось, что муж вряд ли делится с ним этими подробностями) догадался о тихой ясности наших отношений – в конце концов мужской опыт его предшествующей жизни оставался при нем, – однако об этой установившейся ясности он никогда не заговаривал прямо, может быть, потому, что сам вряд ли чувствовал в себе силы вступить на этот бесплотный путь. Иногда словно какая-то неодолимая мысль срывала его с места, он уезжал домой – всегда далеко за полночь. Как бы то ни было, но такие случаи стремительных отъездов были довольно редки, из чего я и делаю заключение: ясная гармония нашей жизни чем-то привлекала его – как новый опыт. О том, что он нами любит, я знаю от него самого: однажды, прислушавшись к коротким и, на чужой взгляд, не вполне ясным репликам, он подивился нашему умению понимать друг друга почти без слов: подивился и позавидовал.

Наша маленькая кухня, в которой и двоим-то было не повернуться, соединяла в долгих ночных разговорах троих. Они садились по обе стороны стола – отец Глеб забирался в самый дальний угол, а я, мостясь сбоку, часто вскакивала: то подогреть, то подать. Задернув клетчатые шторы, мы говорили о разном – то важном, то легкомысленном, однако атмосфера наших ночных бесед, при всей их бойкости и остроумии, разительно отличалась от прошлых – университетских – бдений. Конечно, дело не в том, что мои собеседники соблюдали деликатность, – при случае, к месту, и тот и другой позволяли себе и соленые шутки, и вполне *университетские* выражения. Говоря об особой атмосфере, я в первую очередь имею в виду выбор тем – на нашей кухне мы не спорили о политике, без которой не обходились прошлые, университетские, разговоры. Однако было и общее: среди нас, собравшихся вместе, словно бы присутствовал кто-то четвертый, молчаливо сидевший в углу; но если в университетском случае он готов был воспользоваться любым поводом, чтобы, кажется, помимо воли участников, свести разговор на политические рельсы, здесь он ловил фразы, чтобы,

поймав и ловко ухватившись, свернуть в область метафизики. Не проходило и вечера, чтобы, оттолкнувшись от любого, даже незначительного события: опоздания автобуса, головной боли, случайной встречи на улице, – мы не принимались бы обосновывать *неслучайность*. К этим разговорам отец Глеб относился с особой серьезностью, пытаясь уловить в дневных событиях бесспорные знаки их принадлежности к событиям другого мира: в частных случаях дня он силился разглядеть их истинные, платоновские идеи. Иногда он заходил так далеко, что я, стесняясь высказаться вслух, невольно думала о суеверии.

Однажды, когда его размышления показались мне особенно смехотворными (что-то насчет того, что если нужный автобус не подошел в течение двадцати минут, это означает, что Бог не приветствует цель поездки), я разразилась тирадой о несовершенстве нашего городского транспорта: более или менее хорошо он работает только по утрам, когда все, с Божьей помощью, едут на работу, а по вечерам, возвращаясь домой, можно прождать и полчаса, не означает ли это, что домой возвращаться не следует? Выслушав, отец Глеб пожал плечами, однако лицо его приобрело жесткое выражение, словно он огорчался от моих слов, ни в коей мере его не убеждавших. Это выражение жесткости снова испугало меня, и я, гоня от себя испуг и вспомнив подходящую цитату, весело сказала: «Вот, вот, не иначе – что-то сверхъестественное нами руководит!» – и воздела глубокомысленный палец. Нежданно-негаданно отцу Глебу пришлось по душе мое восклицание, и, откидывая голову, он принялся смеяться и воздевать палец в ответ. Теперь, стоило разговору свернуть в привычное русло, я, немного подождав, приводила веселые слова о сверхъестественном, и отец Глеб неизменно подхватывал с улыбкой. Эта улыбка смягчала мои мысли о суеверии, поскольку про себя я считала, что юмор и суеверие уживаться не могут.

Прошло еще немного времени, и однажды, читая Библию, я поняла, что в этих, на мой взгляд, странных и по-домашнему доверительных отношениях отца Глеба с Богом (Бог призывался в участники ежедневных событий) не было суеверия. Подобным образом общались с Богом и библейские герои, пользовавшиеся прямым правом своей избранности. Здесь я подумала, что и жесткость отца Глеба имеет тот же – библейский – источник, а значит, его тягу к нашим с мужем – евангельским – отношениям можно назвать словом *предвосхищение*. Начитавшись бахромчатых книг, я размышляла о том, что, душой оставаясь в пространстве Библии, отец Глеб живет в ожидании мистического взрыва, обещанного Осевым временем. Точнее говоря, он, природный русский, обладал жесткой, возвышенной и в то же время приземленной душой иудея, готового, однако, выйти за пределы древнего Завета. Правда, и готовясь к переходу, он (подобно тому, как владыка Николай, принявший монашество, оставлял себе карьеру и академическую семью) не мог расстаться с непреклонной мыслью о жертве, которую его Бог мог потребовать от любого из нас.

Мысль о соединении Заветов, сколь бы странным ни казался мой новый переход, подтверждало и полное согласие, царившее между мужем и его новым другом. В этой атмосфере я чувствовала себя счастливой. Все страхи, рожденные в моей душе, кажется, покинули меня. Согласие, давно утраченное университетской компанией, рождало чувство радостной беззаботности и было залогом того, что и возникни между нами непонимание, оно станет мимолетным – разрешимым. Вспоминая то время, я могу сказать, что оба они – и муж, и отец Глеб – как-то удивительно дополняли друг друга. Я чувствовала это с самого начала, но заговорила позже, по прошествии двух безмятежных лет, когда их прочное соединение больше не казалось мне безопасным.

Нет, однажды я все-таки обмолвилась об этом единстве, и они, довольно рассмеявшись, признались, что заметили его еще в Израиле. Тут отец Глеб выдвинул и развил теорию интровертов и экстравертов, двух типов людей, один из которых сосредоточен на внутренних событиях в ущерб внешним, а другой – наоборот. Себя он отнес к первым, рассказав несколько совершенно анекдотических случаев, выдающих его беспомощность там, где

надо было держать внешнее ухо остро. С особым восхищением он привел примеры блистательного анализа внешней ситуации, проведенного мужем, и вроде бы в шутку посетовал, что никогда, сложись его жизнь по-другому, он не смог бы работать каким-нибудь оперуполномоченным. «Самое большое, на что я был бы способен, это стать следователем». Профессиональные свойства, необходимые и тем и другим, он хорошо изучил, работая в Крестах. «Вот представь, – отец Глеб обратился к мужу, – тыходишь в класс. Можешь ли ты сразу, едва взглянув, сказать, кто отсутствует?» – «Конечно», – представив, муж удивился легкости задания. «А я – нет! Я могу просидеть целый урок напротив, но так и не заметить, что *такого-то* нет». Об этой своей *внешней* слепоте отец Глеб говорил даже с некоторой гордостью. «Зато ты можешь побеседовать с человеком каких-нибудь десять минут и увидеть столько, сколько иной за всю жизнь не рассмотрит», – прихлебывая чай, муж утверждал восхищенно, и внутренне я охотно с ним согласилась. Я вспомнила о первом – *ангельском* – разговоре и, запоздало удивившись, поняла: тогда, несколькими вопросами соединив меня, себя и бахромчатые книги, он попросту *обработал* меня. «Уж не знаю, как насчет оперуполномоченного, но следователем вы стали бы отменным», – пошутила я беззлобно. Позже, когда отец Глеб уехал – на этот раз он сорвался особенно стремительно, – муж, вернувшись к развитой теории, весело рассказал о том, что отец Глеб не умеет взглянуть со стороны даже на исписанный листок: получив от студента сочинение, он углубляется в дебри, домысливает и размышляет, вместо того чтобы решительно выставить заслуженную оценку. Этот разговор об интровертах и экстравертах, кажется, задел его, потому что, не останавливаясь, он принялся вспоминать еще какие-то случаи, пока, наконец, не рассказал о том смешном отчете, который отец Глеб написал после посещения Израиля. Убирая со стола, я как-то прослушала начало и не поняла, кому и зачем этот отчет писался: что-то такое невинное, о посещении Мертвого моря, в котором они все искупались. Предваряя веселый рассказ, муж объяснил, что в этом море высокая концентрация соли, поэтому вода обладает особыми свойствами. Точнее говоря, это уже и не вода, а крепкий солевой раствор, выталкивающий на морскую поверхность любое тело. «В эту воду нельзя нырнуть – вытесняет... Странное чувство, как будто нет тяжести тела...» – так он сказал и дернул шейной жилой. «Ну, и что же Глеб?» – я торопила, прерывая его раздумья. «Глеб? – он переспросил, словно приходя в себя. – Да, описывая свои впечатления, Глеб выразился так: “Тело долго не тонуло”», – эту фразу муж произнес зловеще. Я ответила, что действительно смешно, как в дешевом детективе. Муж сказал, что владыка обратил внимание на эту фразу и смеялся. «Как же он собирался стать писателем, если ничего не слышит?» – я вспомнила о том, что отец Глеб, по словам мужа, долго писал в стол. «Потому и не стал», – муж ответил равнодушно, думая о чем-то своем.

Это странное разделение на интровертов и экстравертов, сформулированное отцом Глебом и с горячей готовностью принятое ими обоими, навело меня на мысль, что именно оно, так поразившее их при первых встречах, оказалось главной сближающей силой. Подумав, я не нашла в этом ничего странного. На первых порах чувствуя себя чужаками, они искали того, к кому в новом и отчасти враждебном окружении можно было, обороняясь, прижаться спиной. Они и прижались друг к другу, но так, что глаза одного – за них обоих – были повернуты вовнутрь. Другого – наружу.

На следующий день я сказала, что их союз похож на нерасторжимую сцепку сиамских близнецов. «Да, – засмеялся отец Глеб, – родись мы при Петре, не миновать нам прозрачного сосуда с крепким раствором, куда навечно замуровали бы наши тела». Тут он вскочил с места, и муж, поддержав шутку, с готовностью поднялся и встал рядом. Так они и застыли, спрятав за спины один правую, другой левую руку и прижавшись друг к другу боками. При этом муж со свойственным ему артистизмом смешно скосился, став похожим не то на дохлого петуха с закатившимся глазом, не то и вправду на сиамского близнеца, запаянного в банке. Конечно, я посмеялась за компанию, однако назавтра отправилась в Кунсткамеру и

долго ходила по залам в поисках сосудов. В последний раз я бывала здесь классе в пятом. Пробираясь среди фольклорных костюмов и дорогих подарков китайских императоров, я ругательски ругала себя за то, что придумала это нелепое, неотвязное сравнение, да еще и приплела к нему оба Завета. К вящему облегчению, наконец найдя, я не обнаружила ни малейшего внешнего сходства между своей шутовской парочкой и отвратительно вывернутыми на стороны маленькими тельцами. Стоя в одиночестве перед банкой, заполненной мутным и желтоватым, я, преодолевая жалость и отвращение, думала: Господи, *эти*, будь они разъяты по отдельности, похожи на мальчика Петю, сидящего в уединенной комнате над зеленой книгой. Ручки, изломанные в локтевых суставах, ссохшиеся коричневые пальцы, словно сведенные судорогой... Не в силах сойти с места, я стояла и смотрела, как непропорционально тяжелые головки, расходясь в стороны, вжимаются в плечи иссохшими ушами... В каком-то из залов, уже возвращаясь назад, я заметила портрет Петра Первого и с мимолетным недоумением подумала о том, какими же странными, причудливыми мыслями полнилась его царственная голова, чтобы здесь, в самом центре возлюбленного города, решительно выставить на обозрение это незащитное и накрепко соединенное уродство – пары младенческих тел.

Вернувшись домой и застав их обоих на кухне, я вдруг призналась, что сегодня ходила в Кунсткамеру. Уже рассказывая, как пробиралась среди костюмов и подарков, я запоздало подумала, что они, вспомнив наш вчерашний шуточный разговор, чего доброго, могут и обидеться. Мой поход в Кунсткамеру выходил за рамки их шутовства. Уводя их внимание в сторону, я заговорила о том, что эти младенцы, выставленные в центре города, похожи на других, которых древние родители приносили в жертву своим жестоким богам: зарывали под домашним порогом в залог будущих замечательных успехов. «Ну, помните, то ли Молоху, то ли кому-то из этих, как же их? Предшественников нашего Бога», – от волнения, внезапно охватившего меня, я никак не могла вспомнить – кто и в каком народе. Я помню свое волнение: тогда оно показалось необъяснимым. Волноваться о том, что осталось в глубокой древности, давным-давно ушло, погрузилось... И все-таки, волнуясь, я тыкала пальцем в нашу входную дверь, словно под порогом новой квартиры могло быть зарыто что-то, похожее на жертву. Видя мое затруднение, отец Глеб мгновенно пришел на помощь. В этом вопросе он выказал величайшую осведомленность и, рассказывая о первенцах, приносимых в жертву, приводил все новые первобытные примеры. «Да, кстати, у Томаса Манна эта история с Лаваном, кажется, там тоже – они с женой – сына, первенца, живьем в каком-то глиняном сосуде, и схоронили под порогом, ну ты-то как филолог должен помнить лучше моего», – торопливо глотая слова, он обращался к мужу. Я видела, что этот разговор о первенцах, принесенных в жертву, который я завела, чтобы сбить их с обидного следа, волнует отца Глеба. Дожидаясь ответа, который мог подтвердить его ссылку на Лавана, он даже подпрыгивал на месте, напрягаясь всем телом. Торопливым и знакомым жестом его пальцы касались отворотов пиджака. Может быть, ему просто-напросто передалось мое волнение. «Нет, про Лавана я не помню, да и в Библии этого... – покосившись на мой указующий перст, муж произнес с сомнением. – Нет, в “Иосифе” не про это, ты путаешь, там про то, как родители этого, Петепра, принесли его в жертву: оскотили». Тут он нахмурился и дернул шеей. «Да нет же, вспомни», – горячо и сердито отец Глеб принялся возражать, но муж стоял на своем. Уточнить они не смогли – книги в доме не было. Наконец, замерев на мертвой точке, они отошли от темы. Я сидела и радовалась, потому что разговор, начавшийся с моей бестактности, которую, к счастью, не заметили, отошел прочь от моих нелепых мыслей – об экстравертах и интровертах, сиамских близнецах и Петре Первом. Стал литературным.

Уже собираясь уходить к себе, муж, неожиданно вернувшись к теме Кунсткамеры, заговорил о зле, которое Петр Первый принес Русской православной церкви, поставил ее в зависимость от государства. Устав от долгого дня, я не очень-то вслушивалась, однако и

услышанного оказалось довольно, чтобы сомнительная теория отца Глеба об интровертах и экстравертах – сросшихся спинами близнецах – как-то соединилась в моем мозгу с антицерковными деяниями Петра.

Через несколько дней я зашла к своей школьной подруге. Огромная профессорская квартира, тяжелые портьеры, стеллажи, полные книг. Немного смущаясь и боясь перепутать, я назвала имя писателя и спросила – нет ли. Она повела меня к собраниям сочинений, где писатель и обнаружился в самом верхнем ряду. Встав на деревянную лесенку, я вытянула крайний том и, справившись в указателе, обнаружила искомое: «Иосиф и его братья». Обещав вернуть в ближайшее время, я унесла с собой.

Загадочная история Иосифа и его братьев захватила меня. Погружаясь в древность, я глотала страницу за страницей, пока не дошла до истории Лавана. Тема глиняного сосуда с замурованным заживо младенцем, о котором в одной из первых частей упоминалось вскользь, получала свое зловещее развитие в дальнейшем, причем чем дальше, тем явственнее повествование разворачивалось таким образом, что все, вскользь упомянутое, никуда не пропадало: оно нанизывалось на невидимый стержень, пронзавший насквозь все повествование. Мое восхищение стало и вовсе безграничным, когда, удерживая в голове все перипетии, я вдруг поняла, что каждая предыдущая история оказывается развернутым определением следующей, и так – без конца. В этой загадочной книге каждое слово, родившееся по случаю, не исчезало даже тогда, когда исчезал сам случай. Стоя на срубе колодца и заглядывая в самую глубину, можно было, черпнув ведром, вытянуть на поверхность *все*. Это я поняла раньше, чем дошла до престарелых родителей Петепра, а потому мысль о том, что глиняный сосуд Лавана является предвосхищением другой жертвы – оскотленного первенца кровосмешения, – не застала меня врасплох.

Отойдя от книжных событий и спускаясь по стержню, я добралась до Исаака и Авраама и, перехватывая руками, принялась взбираться вверх. Мысль о жертвах, пронизывающих и соединяющих все сущее, не отпускала меня. Чем выше, тем легче я находила ей подтверждение. Стержень, по которому я ползла, становился все холоднее. Как язык к железному замку, к нему прилипали мои ладони. Лоскутками кожи, прилипшей к замерзшему металлу, рвались мои мысли о ноже, поднятом Ангелом, о скорчившихся в глине костях Лаванова первенца, о скопце Петепра, не желающем углядеть истину, о мальчике Пете, выворачивающем локти, об иссохших до коричневого цвета сиамских близнецах. Лоскутом оторвалось о Петре Первом: о его сосудах с крепким солевым раствором – в основании великого города. И последней, пришедшей после остальных, шевельнулась мысль об убитых, идущих мимо меня нескончаемыми группами, каждая длиною в поминальную записку. Нанизанные на стержень, эти мысли облекались *единым* словом, оно объединяло их – пронзало насквозь. Все они были *жертвами*, на которых стояла наша общая нынешняя жизнь. Ими она соединялась. Совершенно ясно я поняла: жизнь, построенная на жертвах, не может насытиться прошлым. Снова и снова она будет требовать новых жертв.

Господи, я сама ступила на этот путь, я сама пожелала единения, и теперь, как вода в необожженном глиняном сосуде, оно находило себе выход – неудержимо и быстро. Все выше и выше по индевешему стержню, я добралась до Русской православной церкви, которую Петр Первый, замуровав в стекло отвратительных младенцев, тоже принес в жертву. «Ага! Вот тебе, хотела!» – в этот миг я восклицала не о церкви, а о себе, словно церковь, принесенная в жертву, определяла и мое будущее. Какие-то невнятные слова, откуда-то вычитанные, – *ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настает...* – дрожали в срубе колодца. Разорванные ладони подбирались к острому концу. Нависая над острием, я чувствовала его как раз напротив того места, куда, оперенная большими словами, вонзилась – между лопаток – стрела. Мне оставалось последнее усилие, чтобы, упав на острие,

завершить найденное единство. Я оглянулась, но в пустоте, окружавшей меня, не усмотрела быстрого Ангела.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.